

ВЛАДИМИР ЛИПИЛИН

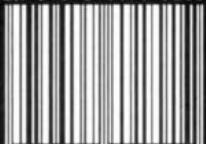
**БАБУШКА  
И КОСМОС**

НЕДЕТСКАЯ ПОВЕСТЬ О ДЕТСТВЕ

Владимир Липилин – журналист, путешественник. Слова – моя профессия. В разное время работая в разных изданиях, таких как журналы «Огонек», «Однако», «Русский пионер», газета «Гудок». Я многое дорог исходил, море разных текстов о волшебных людях написал. Эти же отрывки существовали всегда в форме устной. Они бытовали то как хохмы, то вспоминались как лекарства. И чем больше людей их слышали, тем чаще говорили: пиши. Ну, я сел и написал.

Повесть о бабушке, жившей в умирающей деревне, куда мы приезжали на летние каникулы. О той бабушке, которая умела водить автомобили вплоть до «Урала», обсуждать (и даже горячо) перипетии российского и канадского хоккея, лазить по деревьям, иногда собирать всех оставшихся в деревне старух для игры «в мяч». И чувствовать, ощущать, конструировать вокруг себя самый настоящий космос.

ISBN 978-5-4474-9101-7



9 785447 491017 >

Владимир Липилин

БАБУШКА  
и  
КОСМОС

НЕДЕТСКАЯ ПОВЕСТЬ О ДЕТСТВЕ

Анфиса 12/20  
В.Н.

Издательские решения  
По лицензии Ridero  
2017

УДК 82-3  
ББК 84-4  
Л61

Л61

**Липилин Владимир**

Бабушка и космос : недетская повесть о детстве  
/ Владимир Липилин. — [б. м.] : Издательские решения,  
2017. — 90 с. — ISBN 978-5-4474-9101-7

Повесть о бабушке, жившей в умирающей деревне, куда мы приезжали на летние каникулы. О той бабушке, которая умела водить автомобили вплоть до «Урала», обсуждать (и даже горячо) перипетии российского и канадского хоккея, поить наследку из чайной ложки самогоном, чтобы та приняла в семью чужих, инкубаторских цыплят, иногда собирать всех оставшихся в деревне старух для игры «в мяч». И чувствовать, ощущать, конструировать вокруг себя самый настоящий космос.

УДК 82-3  
ББК 84-4

18+ В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ

© Владимир Липилин, 2017  
© Айна Баева (фрау Шпигель),  
ISBN 978-5-4474-9101-7 иллюстрации, 2017

## **Чемодан весны**

Как только бабушка приезжала к нам, сразу же и наступала весна. Она утверждала, что эту весну в чемодане возит.

— Вон он какой у меня.

Я пялился на рыжий чемодан с разными наклейками на ненашем языке и переспрашивал:

— Какой?

— Внушительный. Туда вся моя жизнь помещается. Не то, что весна.

И правда, чемодан нам казался бездонным. Кроме (как называла бабушка) «шаблов», там лежала в теплых шалях алюминиевая кружка, несколько рыбакских колокольчиков, стекло от керосиновой лампы, завернутое в слои грубой бумаги; три или четыре карабина для альпинистских снаряжений. Соответственно, моток самой верёвки с сердечником... В картонной коробке ждали спокойной воды убийственной красоты поплавки, которые даже в руках держать было немыслимо, словно это перья какой-нибудь диковинной птицы. В целлофане — свинцовые грузила, отлитые в столовой ложке с проделанной дырочкой, резинки для донок, узень-

кие дощечки с намотанной леской, пассатижи.

— А пассатижи-то для чего? — интересовался отец, стало быть, ее сын, глядя как она наводит в малиновой изнанке «шик».

— Сгодятся, — уклончиво отвечала бабушка. — Вот, к примеру, еду я раз в поезде, а там парочка распутная заперлась в туалете, что уж они там делали? Поди-ка даже и целовались. Фу. Никакого пространства, антисанитария одна. А потом выйти не могут, голосят... Проводница подошла, ключом своим рогатым — тыр-пыр. Шиш! Не поддается замок. А тут я как тут со своими пассатижами, чуток ушипнула, провернула — шварт и открылося. Люди спаслися.

Все это добро бабушка закупала, путешествуя зимой по детям и прочей родне, готовясь к летнему рыболовному сезону.

Иногда вместе ходили с ней в магазин «Рыболов-охотник». Что-то докупить, взять впрок. Она шныряла, лихо лавировала средь плечистых мужиков рыболовов и охотников. Продавцы сперва относились к ней с некоторой издёвкой.

— Есть тройник однёрка, милок?

— Тебе, бабуль, зачем?

— На сома, — простодушно говорила она. — Лется взяла одного, ростом чуть поболе тебя. И что характерно — прям за брюхо взяла, толстое, вот что у тебя.

Или повернит в руках спиннинг и скажет:

— Хороша вещь.

Нюхнет и удивится:

— Вишневый.

Затем бережно водрузит на место:

— И все равно баловство.

— Бери, баушка, — скажет, как ребенку, продавец.

— Не, парень. Не бабское это дело, скушно. Пробовала на Оке. А в траве старик сидел, я его не видела. Размахнулась и прям за ухо его. А ухо у него большое, как лопух. Он кричит, а я не пойму, в чем дело, дёргаю, тяну. Он как вышел с ухом этим малиновым и блесной моей. Я прям обомлела. Да и арашек, поди, опять полный позем будет. (Арашками она звала колорадских жуков). Когда мне с удочкой-то? Хочь и с такой волшебной. Я по-деревенски «телевизоров» (сеток под названием экран) наставлю, морды две штуки есть. А к осени мотыгой наловлю, — ввергала она в полный ступор продавца.

— Как это — мотыгой? — уже не ухмылялся тот.

— Очень просто, — обозревала бабушка накомарники. — Есть у нас в деревне два озера. Глыбое и не очень. По весне они сообщаются по лощинке такой вот, из глыбокого тогда караси и переплывают в то, которое не очень. Летом-то я огород из него поливаю, а к августу воды, что в блюдечке остается. Коровы, лоси приходят напиться. Оставляют «копытца», ну, ямки. В них влага и задерживается. А карась-то он живучий. В этих ямках сколь угодно существовать может. Ну, вот я беру мотыгу, лукошко и иду. Буздык в одно «копытечко», шмяк в другое — жарёха готова. Приезжай, мил человек, и на твою долю хватит.

Не помню, оставалась ли она довольна произведенным на здоровенных мужиков эффектом... Или просто уходила. Единственное место, где она могла молча простоять часами, был отдел мормышек. Бабушка смотрела на них зачарованно. Думала

о чём-то.

В тот вечер, когда мы совершили поход в магазин, мама подарила ей новенькие резиновые сапоги. Бабушка надела их, сидя на табуретке, повертела ногами, издавая приятный скрип.

— Ты, глянь, с зайцами.

Сапоги и впрямь отбрасывали по стенам и потолку теплые, мягкие блики — солнечных зайчиков.

Бабушка благодарила, и улыбалась:

— В таких сапогах и замуж не стыдно.

А потом произносила мне шёпотом:

— Как договаривались. Уходим чуть свет на первый автобус. Отцу я намекну. А в школу я тебе потом каку-нить записку настрочу.

Правда, писать она вообще не умела.



рисунок фрау Шпигель

## Обсерватория

Дед Куторкин пришёл к нам за лестницей.

— Все, — сообщил он. — Баста! Обсерваторию буду строить.

Бабушка аж поперхнулась, закашлялась в сенях. Там она жарила утешных карасей, и не просто так жарила — пыталась добиться корочки.

— Где ж ты этот, — сиплым после кашля голосом произнесла, — скоп-то возьмешь?

Представление о том, что такое обсерватория бабушка уж худо-бедно имела.

Она, конечно, не сомневалась, что все создал Бог. Но была порой не прочь выслушать и иную, научнопопную точку зрения. Поэтому вечерами внимала умным передачам из приемника «VEF».

— Где-где, — бубнил дед Куторкин, и смахивал с рукава пиджака полосатого (как арестант) колорадского жука.

В жирном солнечном пятне сидел, качался, ронял голову, разомлевший после ночных дебошей кот. Жук упал точно под нос ему. Кот ловко подцепил лапой, пожевал, хрустнул да и выплюнул. Жук

на всякий случай притворился, что совсем дохлый.

— Как где? В чулане, — всполошился дед. — Прошлой весной, на мое рожденье Ферапонт приезжал. Ферапонт, священник. Ну и подарил. Головастый мужик, я тебе скажу.

— Он-то головастый, да у тебя нападанные листья там. Накой он тебе сдался? — подлила бабушка масла в карасей.

— Да я трижды ударник социалистического труда! — парировал дед.

— Вопросов нет, — сдерживаясь, как можно спокойнее, сказала она. — Только не забывай, что Манька, залётка твоя, председателем колхоза была.

— Ну так-то да. Но щас не об этом. Подарил мне Ферапонт телескоп-то. Говорит — на, Степаныч, гляди на звезды, достигай этой, как её, гармонии с миром. И вот третьего дня так мне в ухо шибануло и стрелят и стрелят. Наверно, себе думаю, с гармонией это самое, не того. Позвал Витьку Кутяя, он по бумажке этот телескоп вмиг одолел. А чего ему, он вон Ка-700 до винтика в соседнем колхозе разобрал и в телеге перевозил. В свой колхоз. Ну, слыхала же, газеты писали. Правда, потом отсутствовал в дому года два.

Собрал, значит, и говорит: площадка нужна крепкая где-то на высоте. Чтоб окуляр дрожь земли не колебала. Мне опять кэээк в ухо шаражнет: эврибаден! амбар! Крыша-то у него земляная. Вся только лишь вот полынью заросла.

Я и решил: табуретку туда поставлю. И будет у меня там — вообще атас.

Астрономом, ясен пень, не стану, но хоть шею

разомну. И это... ну, гармония придет. Куда денется?

Дед Куторкин сунул руку меж поперечин лестницы, повесил её на плечо, и ушёл.

Бабушка даже вышла на крыльцо посмотреть ему вслед, вздохнула так полушёпотом:

— Полный звездец.

Водрузил Витька Кутяй телескоп деду на крышу. А потом случилось вот что.

Три дня он был сам не свой. Светил фонариком в карту, приникал к окуляру. Затем прыгал и кричал что-то вроде: мать твою, Кассиопея!

На день четвертый упросил мужиков перенести туда старую панцирную кровать, обеденный стол. И вообще не слезал.

А на шестой день, наконец, обнаружил искомую Бетельгейзе, и даже показалось, что в туманности мелькнула Конская Голова, о которой астрономы спорят до сих пор.

И так прыгал, так скакал по крыше, что она возьми да и провались, вместе с ним, с телескопом, табуретом и кроватью. И что удивительно, никому ничего не повредив.

Дед не закручинился. Подумал, подумал и амбар, не ударив палец о палец, превратил в нужник. По — научному говоря, туалет.

Мы с бабушкой чистили колодец, когда Куторкин явился с лестницей.

В этот момент подъехал на «уазике» племянник деда. Он принес ему нечто завернутое в тряпицу.

— Степаныч, ты просил прошлый раз, когда звонил, табличку отчеканить. Я, правда, так и не врубился, нафига она тебе?

Дед развернул ткань, на мягком металле было выдавлено: Абсерватория. Прямо так, через «А».

Он быстро запахнул её, укоризненно поглядел на племянника, плюнул, и, уходя, сказал кому-то в пустоту задумчиво, без эмоций совсем:

— Козлина. Альдебаран.

Но потом вроде бы даже и развеселился. И табличку, куда надо, то есть, на туалет приколотил.

## Бабушка и космос

— А вот, например... фокус-покус, — патетично произносил дед Куторкин и снимал свой с покоцанным козырьком картуз. По обыкновению, там сидела какая-нибудь великолепная жаба. Или разноцветная ящерица.

А в этот раз — лупил лубошные зенки несуразный кукушонок. Птенец потянулся, взмахнул тщедушными крыльями, зевнул и покакал.

— Какой же вы гад, — почему-то на «вы» обратился к нему дед. Положил кукушонка на траву и пошёл за лопухом.

Мы с братом Михой птиц любили. И бабушка тоже.

Когда по весне у грачей выпадали из гнезд дети, бабушка откапывала в сундуке свою альпинистскую амуницию. Пояс, карабины, веревки, даже ржавые кошки на обувь. Я складывал в рюкзак тех грачат, и лез меж сучьев. Бабушка потихоньку травила, пропускала канат через ладонь и локоть. Страховала. Было до ужаса страшно и, конечно, восторженно.

Почти каждое лето в доме у нас объявлялись то щеглы с переломленной лапой, которых бабушка

латала синей изолентой, то совы, то воробьи, то коршуны. Последних бабушка лечила, а потом стреляла в них из винтовки ТОЗ, если те начинали тырить цыплят.

Однажды квартировал даже орёл-могильник, сбитый машиной на большаке. Дня три он оклёмывался, шипел, ночами сваливался с печки, как картонный, бился в образа (там всегда тлел огонек в лампаде), потом был отпущен. Многие не выживали, потому что не любили жареную картошку с опятами и овсяное печенье.

Мы плакали и хоронили их в огороде. Ставили из палочек, скреплённых проволокой, крестики. Миха даже ел землю и клялся, когда вырастет, станет «зверяческим врачом». (В 90-е он стал бандитом и завел себе в Орону).

У бабушки был «ЗАпор». Такой чурбак на колёсиках. Газ на руле, вместо сцепления — рычаг. Тормоза отсутствовали вовсе. Да и зачем в полях и деревне где всего-то шесть жителей тормоза? Бабушка летала на нём точно фея — шлейф из жёлтой пыли. Останавливалась об ветлу.

И вот после Троицы она привозила из инкубатора жёлтеньких, пушистых и совершенно безмозглых утят. С этого времени нам с Михой надлежало за ними бдить. Нам вручался радиоприемник ВЭФ, нет — VEF и мы, как новоорлеанцы или даже афроамериканцы, с музычкой на чём-нибудь плече, топали к озеру, пританцовывая и кобенясь.

Утятта, выведенные методом тепла спецлампы, были квёлые, бабушка звала их «шибздиками», но на деле все было печальней — то в траве запута-

ются, то лягушонком подавятся, то чуть не взлетят вместе со схваченной за хвост стрекозой. А мы их от этого сберегали.

Ну как сберегали? Минут двадцать. Потом становилось нудно, скучно и мы углублялись на чердаки заброшенных домов или в поля за горохом. Когда возвращались, какой-нибудь из питомцев уже беззвучно открывал рот, опутанный нитями трав, и вид имел чрезвычайно синий.

Тогда мы хватали его и мчались к дому.

Миха врубал электроплитку, а я тащил чугунную сковородку. В неё мы и клали почти окочутившегося утенка. Чудо творилось прямо на глазах. Минуты через две он мало-помалу приходил в себя. Вставал на ноги, начинал испуганно цикать. А через три — уже пританцовывал. Мы были невероятно горды этим спасением, хлопали в ладоши и орали в такт:

— Ты-ды-ры-ты-ры-ды-ты! Ты-дыры-ты-ры-ды-ты! Йеэх!!! Acca!

— Смотри как радуется, что жив остался, — перекрикивал себя Миха, брал в зубы нож и пускался в пляс. У него выходила какая-то идиотская лезгинка.

— Может, ему горячо? — интересовался я у старшего брата.

— Не, — отмахивался тот:

— Ты-ды-ры-ты-ры-ды-ты! Ты-дыры-ты-ры-ды-ты! Йеэх!!! Acca!

Заканчивалось всё тем, что приходила бабушка и разгоняла нас.

Однажды из того же самого таинственного заведения под названием «Инкубатор», она приволокла

целую картонную коробку цыплят. Первые дни они обитали на подоконнике, отгороженные доской. Ходили такие — руки за спину как у парторгов. И в этой вот позе прыгали за мухами. Пройдошные мухи нарочно крутили у них перед носом мёртвые петли, притворялись ранеными, потом висели вниз головой на потолке, потирали свои липкие ладони и дразнились.

Дня через два пришла пора выпускать цыплят в мир. Однако наседка — дутая пестрая курица — принимать их в своё благородное общество вовсе не торопилась. Она их нещадно клевала. Цыплята перемекивались от ударов таких через голову в пыль дороги и, ничего толком не понимая, моргали, лезли опять. Тут вступал вечно понтующийся на заборе — перья с переливом — петух. Он издавал угрожающие, курлыкающие звуки. Летел выставив голову вперед, как эмблема на мотоцикле Минск, и тоже клевал, пинал их, пытался порезать шпорами. Полсануть.

Бабушка называла петуха плохим контрацептивным словом.

Мы знали это слово, но не улавливали с ним ни малейшего сходства.

Петух же словно обладал пониманием некоторых человеческих лексем, тряс гребнем, орал с забора, высказывал массу назревших возражений, что мол, он не такой.

Бабушка что-то обещала ему в таких случаях, то ли бошку отсечь, то ли ингредиентом сделать. Неразборчиво.

А вечером, когда пролетела над вёtlами цапля и крикнула, бабушка сунула в карман фартука поч-

тую бутыль самогона, чайную ложку и сказала, чтоб мы собирались на дело.

Слово «дело» нас вдохновило, и поселяло внутри холодок вперемешку со шпионской тайной.

Во дворе было темно, но предводительница наша намеренно приспособила себе на лоб фонарик. Щёлкнула им и стала похожа на единорога. Тугой луч шарил по брёвнам, затыканным мхом, пока не уперся в насест. А на нем в петуха.

Бутыль и ложку бабушка отдала Михе.

«Потому что ему уже десять, — подумал я, — и он курил за амбаром репей».

Петух сощурился — хвать худящая, но цепкая рука его за шею, прижала к груди и командует:

— Держи клюв, держи клюв!!!

А как держать, если он этим клювом как шашкой машет?

— У-у-у недотёпы, — ворчала она, садилась почти верхом на петуха, одной рукой подхватывала под крылья, поднимала, надавливала пальцами на костяную пасть.

— Наливай в ложку.

Миха нацедил, булькнул, изловчился и влил, петух сперва так сморщился, кашлянул, заперебирал лапами, словно чётко осознал: яду дали. Миха влил ещё.

Петух зачавкал.

Бабушка опустила его под ноги и ускорила путь пендalem:

— Пляши, дрыщамон!

Такую же вакханалию мы проделали затем и с наседкой.

Я по темноте сбежал ко входу за цыплятами в коробке. И пока наседка чинно усугубляла, мы подсунули в корзину, служившую гнездом чужих, пришлых, и накрыли пьяной курицей. Наседка долго ворчала, скандалила. Бабушка погладила её по голове и усмехнулась с некоторой нежностью:

— Дурища моя. Утром проснёшься — вот ошалеешь.

А так и было. Мы с Михой вышли на росистое крыльце — наседка ходила, а за нею все, все, все. Петух, найдя червяка или букашку, устраивал кипиш, клокотал, бил крылом и танцевал, исполнял по кругу ритуальный танец под названием — какой я молодец. Цыплята, чудно вытянув шею, мчались наперегонки. А он косился, задумывался на мгновение, встряхивал своим гребнем: да ну нафиг, неее, почудилось. Вскакивал на забор и голосил.

И только дед Куторкин, узнав подробности, заливалисто, тоненько хохотал. Бабушка подначивала его, мол, небось, жалеет, что не знал об этой нашей затее.

— Ну не, до этого я ёщё не допился, — возражал он. — Чтоб с петухами бухать.

Прошло несколько лет, а мы все так же возвращали в гнёзда на ветлу у озера птенцов. Как-то в этот самый момент проходил мимо Куторкин. Рядом он вёз велосипед. На руле болталась авоська. Ветла цвела и столько было вокруг пчел, пахло мёдом и такой счастливой впереди летней жизнью. И вдруг старик как заржет.

— Степаныч, — обернулась бабушка, ты буздыкнул, штоль, уж с утра?

— Я тут че подумал, — отсмеявшись, сказал дед. —

Внук-то у тебя вон уж колбяк какой. Допустим (не дай боже, конечно) он сорвется. Ну, так сказать, гипотетически. Ты ж со своей этой верёвкой (ты, ты, ты) — в космос уйдешь.

Я представил это настолько явно, аж нога соскочила. Раздался истошный крик, как будто не мой, секунда полёта и я стопорнулся, сложился пополам в страховочном поясе. Стал крутиться.

Бабушка внизу мгновенно и ловко перехватила верёвку, быстро увязала ее себе на руку и как в перетягивании каната, тормозила. Ехала в галошах по новой траве, упиралась.

И все, все, все — дали, едва оперившиеся поля, сады, огороды и облака крутились у меня в глазах. Было дико страшно и захватывающе красиво.

Бабушка пыхтела, дед Куторкин, неуклюжий как цапля, на своих длинных (в кирзовых сапогах) ногах спешил ей на помощь и бубнил:

— Космонавты, йо! Целая деревня космонавтов. Один я нормальный остался.

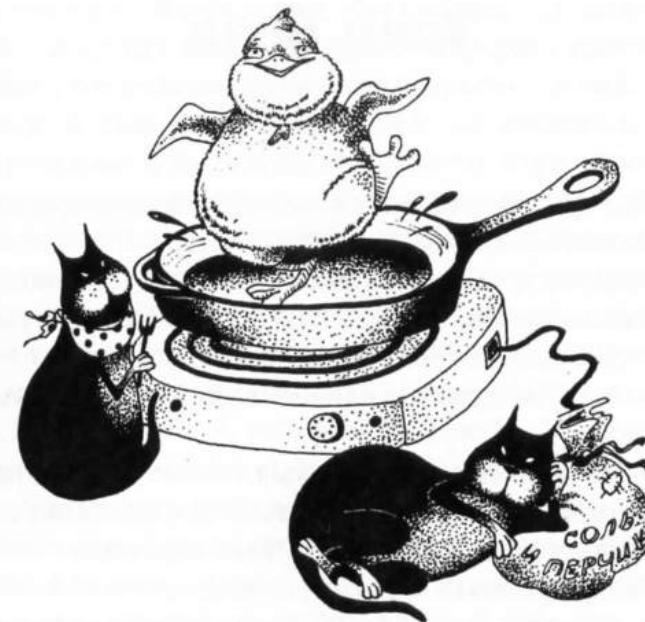


рисунок фрау Шпигель

## Заяц Беня

Дед Куторкин пришёл к нам в гости и воздушного змея с собою привел. На ниточке.

Змея он привязал у крыльца за гирю, служившую в разных хозяйственных нуждах, гнетом. Потопал у входа, будто уже выпал снег, шмыгнул носом.

— У те пятерка есть? — без обиняков спросил, в лоб.

— Ты ж вчера лыжи продал, — бабушка мотала в клубок шерстяные нити. Под ногами выплясывали, изгаялились друг перед дружкой два веретена.

Куторкин опять шмыгнул носом.

— Деньги — не проблема. Я про патроны. Ну, точнее, про дробь.

Бабушка привстала с сундука. Порылась в слоях шаблов и выудила узелок. Там лежали гильзы и производили друг об дружку приятный звук.

— На кабана двинешь?

— На лося, йо, — психанул на подколку дед. Но тут же и забыл. — Заяц, е-пэ-рэ-сэ-тэ. Что коза твоя. Точь-в-точь. По размеру. Один в один.

— А вот так не делат: — беее? — рассмеялась бабушка.

— Да иди ты, — махнул рукой.

— Ээ, болезный, патрончики-то. Трёх хватит?

— Вполне, — набрав побольше воздуха, чтобы грудь стала колесом, произнес он. Однако не вышло. Дошел до порога и вдруг рассмеялся:

— Слыши. Вчера гляжу, Нива ко мне вся заляпанная подъезжает. Под окна. Охотники, сразу допетрил я. Вот у кого патронами можно разжиться. А они пьяные в дым, коленки то и дело подгибаются, как шарнирные. Я вышел. Не видал ли ты, отец, спрашивают, тут одного чудилу с ружьем, на нас похожего? Три часа его по всем болотам, гада, ищем. Как сквозь землю. Только вымокли все и упились. Не-ее, говорю, ребятки. Может, с дороги чаю? Для чего, говорят, нам твой чай, у нас водки полный багажник. И хотели мне уж бутылку дать. Я как замашу руками, не-не-не. Я ж в завязке. (С напором бабушке) — Чо, правда! Смотрю, а в машине-то сапог торчит, чуть шевелиться. А от сапога нога ведёт. Себе думаю: наверняка к туловищу. Оказывается, пока они ходили, он вернулся в машину, уснул и упал меж сиденьев. Завалился. А они вот его ищут. Така ботва. Я тебе там змея привел, сказал дед уже мне. Норовистый!

Дед запахнул фуфайку со штампом на груди. В прямоугольном этом лейбле содержались буковки. И цифры. «ЖХ-385» через косую черту ещё какие-то иероглифы и имя Пужайло. Ф. У нас у всех были такие фуфайки (места не столь отдаленные пролегали километрах в 30, рядом). Бабушка ходила под фамилией Уланов. Д. Миха имел позывной Щипачев. И только у меня одного была маленькая, женская с фамилией Журавлева. Н.

Я часто думал про неё. Про Журавлеву. Эн.

— Короче, — завтра приходите. Будем из того зайца уху есть.

Дед Куторкин был громогласный, но простецкий, смешной. И рукастый. Всяких воздушных змеев клели, учил из берёзовых веток сооружать красивые (домиком) лачуги. А ещё он слыл в той местности самым козырным мастером охотничьих лыж. У окрестных мужиков они ходили под негласной маркой «йондал». «Молния» по-мордовски.

Мы с Михой много раз увязывались с ним за заготовками, из которых он потом делал болванки. В роще дед бродил вокруг деревьев, стучал по ним ладонями, слушал кроны, будто они могли ему что-то сообщить, шептал. А когда находил годную, радовался и целовал их.

Когда в одном из фильмов прозвучала песня Никитина «Я спросил у ясения», мы с Михой ни минуты не сомневались, что написана она была специально про деда Куторкина.

Делать заготовки он отправлялся с двухрушиной пилой. Ручки между собой у неё были перетянуты бечёвкой, чтоб не гуляли. Затем он клянчил у кого-нибудь клячу, привозил столбушки к дому, полюбил, счищал кору. Вез на пилораму и делал там «досточки». Клад их в амбаре на ровный пол под внушительные камни. И там они зрели.

А уж дальше — рубанок и ладони, какой-то отвар, в котором он те лыжи «варил», загибал, обивал лоснящейся, ворсистой шкурой. И так пар десять. А список в его маленьком блокноте все не заканчивался.

По первому снегу, когда подваливало, и воздух казался подслащенным, приходил блаженный Ваня. Сам приходил, никто не звал. У себя в голове и у деда он числился испытателем лыж.

По свежему, как скатерть перед праздником, снегу лыжи свистели, сами почти везли.

— А? Летят! — радовался дед. — Как стрижи летят. Ваня приезжал, запыхавшийся, лыбящийся.

— У засеки оленя догнал, — одно и то же вечно врал он. — Еще бы чуть-чуть и «пумал» за рога.

И без перехода к Куторкину.

— Даешь ключ?

Ваня почему-то любил разные ключи. От замков, гаечные. Но в особенности велосипедные, семейные, где было много отверстий для разных диаметров. Хотя открывать и ремонтировать, ему вовсе было нечего.

Охотником же дед слыл никаким. Всю жизнь в деревне прожил, а бошки курам жена Маня рубила. Он один раз попробовал, положил на пенёк шею её, глаза закрыл и себе по коленке. Этую бы небоскребность да записать, а потом филологам на сковородочке, но тогдаказалось, все так умеют.

Каждый день небо как будто по стеклянным бутылям разливали. Такое оно было прозрачное. Я ходил по крепким подмёрзшим проселкам. Ромашки меж колеями казались ненастоящими, кондитерскими, с сахарком. И дали. Такие были дали. Будто человек. У которого кто-то умер, ушёл, а он потом долго бился в истерике, жалел усопшего, жалел себя, кричил лицо, плакал. А теперь нечем. И в сердце тихая музыка. Точно ехал где-то железнодорожный состав,

весь цистерны залитые блюзами. Потом с рельсов сошел и разлился теми блюзами по простору.

Подробности охоты дед приносил как записи полевого дневника.

— Зарядил винтарь. Вышел. Нету зайца моего. Так и прождал до полуночи.

На второй день он сообщил, что будет поджидать зайца в хлеву. Мол, есть у него маленькое, у самого пола оконце, через которое давным-давно навоз выгребали. Что постелит туда соломы, а снаружи, со стороны поля ячменя подсыплет. Так что — неделя пирорвать будем.

Потом пришел и с каким-то удивлением даже сказал:

— А зайцы, собаки, умные. Пока я караулил его с поля, он обошёл хлев и вдоль стенки к ячменю подкрался, сожрал все, «горошки» оставил. На мол, Петя, кури. Иль в самогон добавляй. А чоо? Я пробовал — любопытный, скажу вам, букет. А я ждал, ждал, безмозглый. Вижу подходит ко мне, огромный такой, теребит за плечо и говорит: Мужик, а мужик. Все зайцы в белом.

— Кто говорит? — не поняла бабушка.

— Заяц говорит. Короче уснул я. К вечеру кофе долбану. Готовьте ложки, подельники, — смеялся дед.

С вечера понесло, крупным и шерстяным. В печной трубе как будто болотная птица выпь поселилась.

Бабушка вошла утром вся в снегу, сказала кому-то:

— Тут пока полежи. А, похож, здоровово я те прило-

жила.

Я потягивался, и так лень вылезать было из-под одеяла. Дрова в печке только разгорались. Тут и дед явился. Пустой.

В общем, в эту ночь он решил кардинально поменять тактику. Ждал за углом у хлева, снова предварительно подсыпав ячменя. Но тут снег, метель. Дед увидел — у приманки что-то или кто-то шевелится. Прыгнул в лыжи и узрел следы к полю. Следы вскоре кончились.

— И в спину мне под лопатку кээк стрельнет, — продолжал он. — Как из ружья. Решил, знаешь ли, отышаться. Поставил винтарь прикладом в снег, обопёрся на него. Стою. Тучи вдруг порвались, словно паутина. Луна проглянула. Повернул морду-то, а заяц-то вот он, в двух шагах. Встал на задние лапы и тоже, слышь, ищет кого-то. И я так понял — меня. Но не видит, принюхивается. Даже потом одну лапу козырьком сделал, как капитан корабля высматривает, куда дальше плыть? Пройдошний такой, сволочь! Я стою, а ружьё-то мое в снегу прикладом. Хотел вытащить, он увидел шевеление и дал газу.

Бабушка откинула шаль с кровати за голландкой. А там лежал, шевелил щеками, будто шептал проклятия заяц. И одним глазом нам подмигивал.

— Не, — пришёл в себя дед Куторкин, — эт не мой. Мой был длинный, рослый.

— Как коза, — напомнила бабушка.

— Во-во.

— Ты все ж чеканутый, Степаныч. Луна-то последние ночи-во какая, — она показала, будто несла охапку чего-то, — и низкая. Вот тебе и повержи-

лось, тени-то вытягиваются.

— И? Как же ты его? — уже смирясь с доводами, спросил дед.

— Иду утром в колодец, метель. А он бедный спрятался за сугроб у амбара перед дверью, оттуда тепло дышит, и сидит не шевелится. Я легонько так его коромыслом — хрясть по башке. Испугалась сначала, подумала убила. Домой притащила, вроде дрыгает лапами.

Заяц у нас прижился. Потом обнаглел, лазил везде. Сгрыз болотные сапоги. Съел несколько журналов «Техника молодежи».

А когда приходил дед Куторкин и они дулись с бабушкой в карты, заяц неслышно переваливался, выходил на середку избы. И смотрел.

— Беня, — (почему-то именно так), не глядя на зайца говорила бабушка, — покажи как дед Куторкин охотится.

Беня вдруг послушно вставал на задние лапы, вытягивался, а переднюю прикладывал ко лбу, будто кого-то искал.

— Не зевай, — кипятился дед. — Козырь-то крести, куды ты мне винновую шестёрку лепишь.

— Не дрейфь, Степаныч, — хихикала бабушка, — в любви тебе теперь обязательно повезёт. Вот увидишь!

## **Курс обучения верховой езде**

Многим вещам мальчишкам, которые проводили каникулы в городе, обучали дворы, немножко отцы, чуть-чуть деды. Мы же с Михой проводили лето в деревне. К тому времени она была:

а) малонаселённая. И б) маломужицкая. Поэтому в основном нас всему учила бабушка и Танька — баба Таня Максимова (не баба — атаман, характеризовали ее некоторые устные источники). Вот чему они нас учили вкратце:

- свистеть в два пальца;
- играть в лапту (тот же бейсбол на сельский манер);
- косить траву и делать копны сена;
- плавить свинец в ложке и потом проделывать дырку для получения грузила на донку;
- ловить соек корытом для стирки белья...

Я же, кроме этого, всегда хотел научиться ездить на лошади. Пусть не верхом, но хоть как дед Куторкин — стоя в телеге, свистя, и, козырно размахивая над головой вожжами. Но на лошадей Миха любил

только смотреть. И то — издалека. Он их боялся. А я все-таки выучился.

...По-казенному, по колхозной метрике, если таковая где-то имелась, лошадь звалась Анькой. Впрочем, молва сохранила и полное имя кобылы. Звучало оно гораздо козырнее — Аня, вернись.

Владелицей её была мощная, в то время ещё и не старуха совсем, бабушкина соседка Анна Михайловна. По уличному Нюрка, для иных Чёрная.

Обладательница Ордена Ленина, чёрной, едва ли не синей, косы до калош, бычьего сердца и дивной силищи, она всё время куда-то рвалась. То на целину, то дать в морду председателю.

Мужики, которые не в силах были угнаться за её трактором и показателями, утверждали, что «она в натуре колдунья». Что соответствующими ночами при ясной луне летает в тракторном колесе от КА-700 на шабаш и умеет превращаться в свинью.

На что бабушка замечала:

— Вы-то тоже горазды. В свинью-то...

Всю крутость нрава соседки бабушка списывала на причину чисто женскую, говорила, что она «старая дева».

Эта антитеза до сих пор вывихивает мне мозг. Ведь если старая, то какая же дева? И потом. Как вообще это возможно. Неужели за такую долгую жизнь никто так и не встретился, случайный, тот, который понравился бы или которого придумала?

Говорили, что ее чувака по молодости ошибочно убил красноармеец, занимавшийся созданием колхозов. И она, мол, чего-то там поклялась. Но эта слепоточивая, мимишная история никак не вязалась

с ней. Да и речь не об этом.

Однажды (в середине 70-х), когда она уже вернулась из своих странствий окончательно, рассказывают, к её дому подъехала желтая 24-я «Волга» с шашечками. Шустрый, щуплый мужичонка долго выгружал из багажника прямо на траву позывкающие ящики со спиртным, свертки в бумаге. Чёрная вышла на крыльце и пробасила:

— Чалый, ты?

— Кто ж ещё, — лыбился разодетый в расклешенные кримпленовые брюки, пиджак и жёлтый чешский галстук тот.

Как выяснилось позже, вместе с этим Чалым она когда-то в буквальном смысле давала стране угля. Она сгребала этот уголь на тракторе, он — был слесарем в автоколонне. Потом поднялся, возглавил её. И вот — явился.

Весь вечер они кутили под старой черёмухой, вспоминали. Она — в цигейковой шубе, подаренной им. Он — галстук долой, в рубахе, расхристанной на груди. Никто толком ничего не знал о том, что у них когда-то было, только Чалый потом проболтался местным, что каждый отпуск следовал за ней по пятам, искал.

И вот — ночь. Мужчина долго курит на воздухе. А вернувшись, нарочно ошибается койкой. Чёрная трактор «Беларусь» переворачивала руками, а его просто взяла за шкирку, за трусы и выкинула в оконко. И шубу тоже.

Впрочем, начальник автоколонны человек был учёртый, бамовский, чумовой. Он еще раз съездил в город за водкой, опоил всех комбайнёров, нарушил

уборочную. И через три дня на ЗИЛу, в кузове которого был из тех же комбайнеров подобран вполне себе зафакстрованный оркестр с баяном, балалайкой, пионерским горном и даже тамбурином, приехал снова. Но Анна откровенно послала всех этих жалельщиков из министерства любви.

— Змеища, — шептались в кузове. — Такого мужика приворожила. А теперь изгаляется.

Но и тут не сдался бывший автослесарь. В татарской деревне Лопуховке, что была по соседству, он приобрёл ей пегого жеребёнка женского полу. И назвал его АНЯ, ВЕРНИСЬ. Перевязал бантом из косы дочки одного татарина. Отоспал. Затем докончил оставшиеся деньги и укатил в свой угледобывающий край.

Чёрная тоже стала под старость поддавать задорно. Затрёт две фляги бражки из старых вареньев, и, не давая ей дозреть, тихонечко выщедит ковшиком. Ходит, бормочет что-то, шепчет себе под нос. Пролетающие мимо грачи к ногам падают. Ее запои странным образом рифмовались с первой листвой и первым снегом. Она подзывала меня, шарахающаяся по саду, в поисках орешника на удилище. И просила втихаря от бабки съездить в ту самую Лопуховку. В магазин.

— Вырастишь, я те мотоцикл с люлькой куплю.

Мне было лет восемь, и на лошади ездить я ни капельки не умел. Но она помогла. Подсаживала на Аньку, зажимала мне в кулак синенькую пятирублевку, отвешивала лошади смачный поджопник и валилась в крапиву. А я, обмирая, скакал. Без седла, с одной уздой, выталкиваемый с позвоночника мощ-

ными кобыльими лопatkами.

Поля неслись мне навстречу, мир был таким теплым и простым, как баня на следующее утро.

На сдачу к двум бутылкам с кубанской девушкой на этикетке, седовласый татарин Алим насыпал мне в холщовую сумку пряников. Отвешивал Аньке дежурный поджопник, и я мчал обратно.

За плотиной у пруда стоял татарский конный двор. Лоснящиеся в закатном свете жеребцы ковыляли там стреноженные. В одну из таких поездок один заржал, кобыла моя откликнулась, он порвал путы и помчался за нами. Анька, кобенясь «я не такая», завезла меня в пруд, жеребец следом. Они терлись друг об другу шеями, как-то безумно ржали.

Бутылки мои разбились, пряники набухли, плакать я тогда тоже нифига не умел. Сидел и плакал в голос. А им хоть бы хны. Как вдруг от кустов волна, потом плеск, словно скачет по воде кто-то. Это бабушка, как сторожевой катер, как ледокол, задрав юбку чалила нам наперерез. Она шуганула жеребца, материлась, вывела Аньку под уздцы из воды. Так и вела два километра.

Было тихо-тихо, только перекликались две перепелки в сырых от рос, ещё неубранных ржах. И только-только проклонувшиеся звезды в моих налитых слезами глазах превращались в яркие крестики.

## Вычитание зимы

К Октябрьской за бабушкой приезжал дядька. Веселый, пузатый, шебутной.

В районном центре работал дядька на автобусе ПАЗ. На нём вот по окрепшим колеям и приезжал.

Бабушка колготилась, подвешивала на верёвки под потолок (чтоб не досталось мышам) прианные свои перины, матрацы, подушки.

Потом таскали в автобус узлы.

А напоследок запихивали очумевшую, исполнявшую истошные вопли козу.

Коза фыркала, закатывала зенки. Но в обморок на всякий случай не падала.

На кочках она смешно приседала и пускала по салону длинную струйку. Пока ехали до соседней деревни, где козе у бабушкиной золовки предстояло провести зиму, струйка каталась по пыльному полу — туда-сюда.

Дед Куторкин поджидал нас у окопицы почему-то с белорусским стягом. И ещё долго я видел его в заднем стекле машущим, пока он не превращался в зыбкую точку.

Дед поживёт в деревне до декабря, да и тоже дви-

нет, как он выражался, к «покою и кормежке».

На этот случай имелся у него чумовой ход.

В первых числах декабря Куторкин навешивал на сени замок, кидал ключ в колодезное ведро, опускал в воду, чтоб примерзло. А сам вешал на плечи вещмешок и мчал на лыжах как сайгак, откидывая снежные ошметки.

Путь его пролегал до соседней деревни. Именно там в течение недели-двух (в зависимости от «поэтического настроения») им с корешем изо дня в день предстояло «ужираться», как формулируют интеллигентные люди, «в зюзю».

Причем было это не какое-то там быдляческое, бессовестное доведение себя до свинского состояния. А даже напротив — чинное следование рецепту врача. Причём — врача главного. Командующего магическим заведением под названием ЛТП.

Дед Куторкин знаком с тем эскулапом коротко. Говорил даже, что выпивали. Кто поверит? Сергей Абрамыч (так звали алкогольного лекаря) старику заявлял прямо:

— Если запой трехдневный, вшивенький, а давление меньше ста шестидесяти — лучше даже не звони. Вот Куторкин и доводил организм до нужной кондиции.

Кореш у деда разбитной, отзывчивый. Только плечами пожмёт:

— Да я месяц могу без продыху. А тут...  
И потом.

— Почему не уважить столь дивного человека?

Тем более, что пропивать они собираются деньги шальные, незапланированные, вырученные

от продажи куторкинских лыж, которые, как мы помним, молва зовет «йондал». Что значит «молния» по-мордовски.

Первые дни кутежа пройдут под эгидой «А помнишь?»

— Долдонить нечего, — скажет дед, — прожили весело. Польза была и радость была. Бывало, дождь пройдет и так хорошо в левой титъке, что с Машкой Черничкиной целоваться охота.

— Да уж, чё и говорить, — согласится собеседник. — Улетна была председательша. Особенно, когда верхом на жеребце подъедет, ветром обдаст — потом ещё минут пятнадцать ходить не можешь. Кальсоны мешают.

— Че это?

— Угадай!

Оба ржут.

Или вот такое с утра:

— Иной раз думаешь, что чего-то там достиг, чему-то научился, — скажет свесив ноги с печки дед Куторкин. — А утром встал и опять... По новой надо искать в себе... этого, как его?.. Человека! Как носки прям.

Дней через десять от «крестоносцев», как имеет заведение Куторкин прибудет машина-буханка. Дед шмыгнет носом на мёрзлом крыльце, обнимет друга.

— Дай бог не последний.

— Ты чо? — пробасит собутыльник.

— Ну, эт я, штоб жальчей. Так соли больше. И остроты, так сказать, жизненной.

— А, — кивнет провожатый. — Тогда ща, погоди

маленько, я тож заплачу. А вообще приятно посидели, да?

— Оупенно. Если не сказать лучше.

Далее в течение трёх месяцев дед станет проживать на казённых харчах. Не за бесплатно, конечно. В часы досуга его увидят делающим стулья начальному алкоголического учреждения, столы и прочее.

А ещё будет много читать, наблюдать за небом, слушать охальных мужиков, которые путем перечисления банальных глаголов, зrimo, почти до осознания могут скинуть всю одежду с медсестер. А последние в благодарность поставят им (в буйных фантазиях, само собой) капельники, в которых не лекарство, а чин по чину обыкновенный медицинский спирт.

Бабушка же в это время путешествует по бесконечной родне с домашними животными. А именно со свиньёй. Закупоренной в банки.

Она успеет охлестнуть простор от Москвы до Мурманска. И будет говорить об этом так:

— Человек должен обязательно отпускать себя в дорогу. А если не получается, брать за шкирку и выпинывать. Иначе сбесишься. А поездишь вот, поглядишь на всяких, прямо скажем, дураков градских. И так станет жалко всех. Чего-то мыкаются, грызутся. И даже как-то неловко, что я вот королева. Спаситель мне дал все. Дом ждёт. Люди сердцу разлюбезные. И сад под снегом.

Она приедет, и мы попремся с ней в рыболовный магазин пополнять запасы лески и колокольчиков (да, их всегда мало). Следующим утром дядька подбросит нас до поворота на своем ПАЗе. Мы протопаем пять километров и будем пить чай у бабушкиной

подружки Фаины. Они станут обмениваться вспаханными информационными полями, а я буду гонять мысли, словно конфетку за щекой, что все ледяные катки, учеба, синяки, сломанные руки, оковалки ледышек на штанах и варежках — вся эта гулкая и ежащаяся зима была лишь временем пережидания. И ожидания вот этого настоящего, когда до места заветного остается всего-то два кэмэ.

За плотиной татарский конный двор. Блаженный Ибрай ведет под уздцы коня. Конь блестит. Издалека кажется, что они не шагают — парят. Чуть-чуть. Над землей. В мареве. Потому что солнце и сверху, и снизу, отраженное от многочисленных ручьев и остатков снега. Сапоги увязают и чавкают, мы часто отдыхаем.

А в небе как на полках в комоде, дрожат, позывикают хрустальные рюмочки-жаворонки.

У околицы дед Куторкин будет приделывать к деревне ворота. Он так каждый год «валандается». «Во всякое волшебное пространство должна быть дверь», — умничает потом.

Летом, естественно, их снесут комбайнами, тракторами. Превратят в труху. Но разве это важно сейчас?

На этот раз вместо ворот он вкопал две пики, водрузил на верхушки шестов два коровьих черепа. Хмыкнул:

— Как индейцы будем.

Дед заметил нас издалека. И щурился от солнца. А казалось, улыбался. Или все было наоборот. Мы подошли на достаточное расстояние, Куторкин крикнул:

— А я уж, было, хотел повеситься. Между прочим, в вашей избе.

— Какая же гнида тебя удержала? — бабушка тоже была рада ему, посмеивалась.

— Да просто подумал, хреновое из меня выйдет приведенье. Говна-то во мне, конечно, хоть отбавляй. А яду мало. И ужас вселять не умею.

На вётлах грачий шалман. Прилетели, видно, недавно. Со всеми своими чемоданами, скарбом, мужьями, прошлогодними детьми. И чего-то такое хорошее нам накаркивали.

Когда мы подходили к дому, дед сквозь гвалт шёпотом пригласил меня после обустройства покататься на внушительной льдине по озеру. Я был не против.

— Три дня для тебя берегу. В кусты отогнал, чтоб не таяла.



рисунок фрау Шпигель

## У озера

Первую после зимы ночь в деревне мы проводили всегда под небом. Такая традиция.

Дед Куторкин дивился постоянству:

— Ну, надо же. И по хрену мороз?

— Степаныч, тот случай, когда совершенно.

Бабушка, само собой, знала, что — да, история никогда и никого ничему не учит, хорошее забывается, а человек с годами становится, как правило, лишь паскуднее. Потому что, подверженный болезням и лени, гордыни и страстям, он всё больше и больше скатывается в компромиссы. Не забываются для душ (тем более, детских) только вот такие весенние ночи на берегу реки или озера.

Иногда они даже определяют жизненный вектор движения.

Днём мы драили полы, устилали их цветными «верчанками», топили сразу и голландку, и печь.

И вот дом, изба начинали медленно оживать, потрескивать в углах, и отдавать запахи. Слой за слоем.

Строению к тому времени было лет двести. Крепкий, с неразборчивым клеймом на бордовых кирпи-

чах, дом все время подсовывал какие-то приветы из прошлого. То коробку, изнутри обитую синим бархатом, с пазами для перьевых ручек, то грамоту «Победителю скачек», выданную в 1912 прадеду в Москве. Мы найдем ее когда отвалится от промерзшей стены пласт обоев, а грамота — нет.

Бабушка велит мне зажечь, висящую в углу на цепочке, лампаду. Там, на полке, дешевые иконы в серебристой фольге. И только две на досках. На левой, ближней к окну, что-то явно не так. Образ представляет изображение Иисуса Христа, который держит лицом к зрителю раскрытую рукописную книгу. Раньше я лазил туда, пытался прочитать, но было «не по-нашему». А теперь страницы в той книге как будто заканчивались, иссыкали.

Дед Куторкин пришел к нам с бараками, уселся и давай наливаться чаем.

Бабушка всегда предпочитала щедрить из блюдца, сдувая с поверхности легкое дыханье.

Я сказал им о книге и все туда посмотрели, задрав головы, как на страшную птицу.

— А и кончится скоро, — прожевав, подтвердил дед, взял еще крендель, посмотрел на свет в дырочку, как будто там была линза. — Ничо удивительного. Кино к концу. Две тыщи лет Он дает нам, дуракам, шанс. А мы его с удовольствием профукиваем.

Бабушка закашлялась.

— Ты прям как Фарада.

Перекрестилась:

— Прости мою душу грешную.

— Не Фарада, а Фарадей. Но он тут ни при чем. И потом — я лучше. Во всяком случае, проворней

на данный момент... И живее.

— Чеканутый ты. И Бога не боишься.

— Боюсь, — как-то по-детски, честно сказал Куторкин. — Хорохорюсь просто. Дуркую. Но я не один. Мир рушится, а мы выпендриваемся. Нервное это все.

К вечеру мы опять с рюкзаками. Хотя до уютной полянки в тополях под кодовым названием «где Федя зоотехник об бОшку агроному гитару разбил» всего — ничего.

Бабушка научила меня укладывать рюкзак так, чтобы можно было протопать с ним полпланеты. И не устать. Чтобы ничего не впивалось в бока и спину, а всё нужное помещалось. С тех пор мешок на плечах — это сладкое такое волнение перед дорогой. Колебание: может, не ехать? И еще рюкзак, лямки его — это как будто кто-то любимый обнял на пороге, когда ты уходил, перекрестил в спину.

К этому времени бабушка уже смоталась в соседнюю деревню за козой, а по дороге разругалась с ней, бестолочью, вдрызг. Коза строила из себя жертву произвола и потенциального клиента гринписа, всюду ходила за нами, оглашала окрестности так противненько, нудненько, что словила по сусалам, и была заперта в хлев.

В тополях имелся стол, вкопанные скамейки. Мы разбили лагерь. Установили палатку, разнесли два костра. Дед Куторкин, засунутый в тулюп, принес в ведре уже чищенных окуней. И принялся варить уху.

Посерёдке стола керосиновая лампа, а у меня в кармане немного ржавый фонарик с квадратной

большой батарейкой.

Они говорили о деревне, которой уже давно не было и больше не будет никогда. О бабушкиной свекрови, хитрой мелкопоместной дворянке, якобы закопавшей в подполе с приходом советской власти несколько кувшинов с золотом. Но свекровь её (а для меня прабабка) была шита отнюдь не лыком, и, скорее всего, про подпол наврала, запутала. Несколько ушлых родственников тыкали мёртвую землю вилами, а кто и оружейным штыком. Находили разбитые черепки и спрессованное прошедшее время. Затем перешли к бабушкиным мытарствам по Ленинградской области, где она была в войну санитаркой. Упомянули местного председателя Дубова, который внешне ну вылитый был Маяковский, а в жизни оказался скотом. Во время той же войны он нарочно прострелили из дробовика себе ногу, и остался тут председателем над бабами. Изгаялся и куражился над ними

А потом все ели уху, отдуваясь от пара.

А потом земля пахла подшивками журналов «Сделай сам», отсыревших на чердаке.

И такая стояла тишина, которую в следующий раз дед Куторкин предполагал услышать разве только в гробу.

Ещё немного пообщавшись, мы спустимся к самому озеру, стынью понесет от воды. Наша с дедом льдина будет чинно припаркована в кустах на другом берегу. Бабушка посветит, а я за веревку буду по очереди вытаскивать экраны или как они их звали «телефизоры», такие сетки — метр на метр, палка снизу с железными болтами (вместо груза),

палка сверху без всего (то поплавок). Удивленные караси бьются и трепыхаются в ячейках, некоторые даже чавкают. Руки мои дрожат, сердце колотится и пара штук (как водится, самых больших) выскакивают и, танцуя по мерзлым прошлогодним листьям, плюхаются обратно в талое озеро. Но досады нет. Есть ощущение зыбкого сна.

Где-то вдалеке небо прошёптёт метеор.

А к утру в варежки и шарфы туман укутает деревню. У заброшенной избы затрещат кусты бузины, и дед Куторкин подскочит, всполошится.

— Эй, не видал моих лошадей?! — скажет громко, но, впрочем, осторожно.

Ему не ответят. Треск приблизится. Дед сунет руку во внутренний карман тулупа, будто ухватится за сердце, на самом же деле даст кому-то понять, что там у него не иначе как маузер или наган.

Но кому? Туманвойочный.

Движение в кустах прекратится, а дед ломанется туда в обход.

— Майор, — закричит он, — слышь, майор, без моей команды не стрелять. С лощины заходи, окружай!

Я подпрыгну на скамейке, бабушка затушит лампу и улыбнется.

Будет слышно, как дед словно порвёт грубую бумагу, это он рухнет в лужу, из которой морозец выкачал почти всю воду и превратил в лед. Минут через пять он вернется возбужденный, с ярым блеском в глазах и жижей на сапоге:

— Лось, товарищи. Гад буду, лось.

И отхлебнет из алюминиевой кружки остыв-

ший чай.

— Я где-то читал, что любят они вот так на дым выходить. Папиросным не гнушаются также. Таким образом, ноздри от всяких паразитов прочищают. Пальцев-то нет, одни копыта, козявку не подцепишь.

В тот самый момент из тумана на нас вывалилось нечто. Нечто дышало тяжело. Сомнений не было: перед нами нездешнее животное. Приглядевшись, мы узрели козу.

Бабушка смеялась, закатываясь тоненько. На голове у скотины был обыкновенный деревянный ящик, между реек которого сопел козий нос. Рейки сковали его движенье. Коза напоминала рыцаря в кованом шлемаке с опущенным забралом.

Видимо, когда мы ушли к озеру, она прорвалась из хлева в сарай. По пути встретила стопку пустых ящиков, что пахли яблоком. Будучи существом нервным и любопытным, коза встала на задние ноги, как человек, решила поглядеть: не завалилось ли хоть одно между где-то там? Не завалилось. Когда возвращалась в естественную позу, на четвереньки, верхний ящик предательски оделся ей на рога. Она пихнула, разбежалась и впечатала мнимого врага в стену. Тем самым, попала между реек, которые и связали ей речевой аппарат. Затем пошла на голос, но сырость, туман. Так и угодила в кусты. Когда старик стал кричать не бабушкиным голосом, коза зашухерилась.

Дед Куторкин был малость смущён, что принял банальную козью морду за благородную лосиную.

Он крутил колесико в приемнике VEF. Коза, двигая, челюстями в разные стороны, надменно щурила

глаза и пожирала из бабушкиных рук яйцо варёное.

И вдруг зазвучал гимн. Советский. Дед замер. Гимн нарастал. И тут я увидел весь прошлый день и бессонную ночь, от которой становишься немножечко пьяным. Ручьи, заполненные солнцем, человека с конем под уздцы, икону, дымящий костер, карасей, плывущих куда-то в ведре. Разговоры, звёзды, настоящий на травах и талой воде туман. Муравьи нестроевым шагом промаршировали от пяток до макушки. Я так шумно и глубоко всхлипнул-вздохнул, что бабушка оглянулась.

Коза, прожевав, тоже воодушевилась, вроде как подпевала гимну.

Голос ее дрожал.

## Китешка<sup>1</sup>

В детстве мне нравилось нюхать книжки.

Берёшь такую, раскрываешь, но не до конца, и надо в нутро её дохнуть... теплом, тем теплым воздухом, который извлекают изо рта вот так: ха-а-а-а (долго задерживая «а»). Как будто в трамвае на окошко, чтобы протаяла дырочка, а ты посмотрел: где ж я еду-то? Или, например, как будто чья-то мама с подружкой дышат на язык упрямого идиота. Говорили ему: морозные качели коварны, завлекут,

<sup>1</sup> «Кит» — древний, известный во многих финно-угорских языках корень, обозначающий — «камень». «Китешка» — «к камням». Кроме того, по одной из легенд, «китешки» — чужеродные слова, которые приносили одним племенам племена другие. А вместе с ними — боль, разбой, кровь. И вот, мол, существовал у чуди белоглазой, других финно-угров, как правило, селившихся на берегах рек, такой обычай: строить в углублениях берега некие подобия землянок, укреплять их крыши деревянными подпорками. Делалось это для того, чтобы старики, чувствуя приближение смерти, уходили туда, подрубали подпорки и, таким образом, себя хоронили, зарывали камнями. Так же поступали люди при приближении врага, который превосходил их по численности и нес чужеродное. Они просто уходили в эти землянки, подрубали подпорки... Но не принимали другую культуру, обряды, языки.

поманят. А он усмехнулся и, только они зазевались, не поверил, не поверил. И теперь они такие с двух сторон «х-а-а-а» вперемежку с подзатыльниками.

Книг у меня было много. Чтобы не отвлекаться, я принес из чулана сразу охапку и брал их из стопки по очереди.

— Чё эт ты делаешь? — поинтересовалась бабушка.

— Да вот, книжки нюхаю, — заявил я.

Бабушка брякнула пустым ведром в крупинках комбикорма, отёрла фартуком руки, рядом унёсилась прямо на половик.

— А как надо-то?

— Ха-а-а-а.

— Тыфу, плесенью воняет, — захлопнула с отторжением одну.

— На вот эту.

— Ха-а-а-а. Хм. Вымытыми полами пахнет. Некрашеными. Ха-а-а. А эта картами игральными и чем-то нехорошим!

Книжки всегда были для бабушки вещью диковинной. Ну, вот допустим, если бы у вас дома лежала рабочая, а не учебная граната. Как бы вы к ней относились? Вот именно: нежно и почтенно. Вот так и бабушка к книгам — она знала, что это не просто набитый строчками и бумагой брикет. Там таится что-то странное, то, чего нет, а откроешь — существует. Поэтому-то к книжкам всегда с поклоном и уважением. В свое время не вышло поучиться в школе, с детьми тоже не удалось читать, так, с горем пополам нахваталась. По слогам. На молитвах. Дико стесняясь нас. И чаще шёпотом.

— Вот дед, он умел, — вспоминала. — Грамотный, учёный, чё ж. Булгахтер. Говорливый, как будто задницу куриную съел.

Бабушка отчего-то считала, что именно эта часть куриного существа рождает в человеке ораторские способности. Если вдруг мы приводили на её антинаучные воззрения где-то вычитанные «весомые» доводы, она отмахивалась немножко даже с обидой:

— Пускай, пускай. Глупая я. Чё с меня взять — ста-руха. Вас-то вон не переспоришь, говорить нынче все горазды, будто курину жопу съели. Ха-а-а-а.

— Есть кто живой? — спросил из сеней дед Куторкин, хотя слышал: бубним.

— Не сомневайся, — сказала бабушка, — хватай добро и драпай.

Чё это вы тут делаете? — мягко, как кот дед подошел в шерстяных носках, надо мною наклонился.

— Книжки нюхаем, — ничуть не смущаясь, сообщила бабушка. — Один дурак зачал, вторая подхватила. Иди и ты к нам, третьим будешь.

— Во дают. Весь прогрессивный мир давно на клей перешёл, а они — книжки, — он был в ударе. Причем отнюдь не поэтическом.

Утром племянник привёз металлоискатель. Научил. Говорит, у вас тут, поди, алюминий какой, цветмет, клады?

— Вот тоже, да? Нашёл поместье, — усмехался дед Куторкин, и замер в ожидании. Хоть говорил, что про клад под нашим домом ерунда, брехня, но все же хотел сам попробовать, удостовериться.

— Ну и вот. И целый день у меня в ушах: динь-динь-динь. Беру лопату, а там бляха... в смысле

от ремня солдатского. Опять динь-динь-динь — ага, самовар, да с клеймами, 1840, 1841 год. Я дальше. И вдруг как зазвенит! Ну, я решил лопату побольше взять, глубоко. А забыл, что это Володя Лупан в 76-м тут к амбару своему тайком провода кинул, двужильные медные — красота. И кээк дерганёт меня и как начнет колбасить, думал, глаза выпрыгнут. Хорошо, племянник проснулся. Взял весло у забора и так шарахнул мне по плечу (он показал шишку-синяк, где наколка). Но спас. Короче, я по делу.

Бабушка ещё раз нюхнула книгу на гибе и захлопнула с некоторым недоумением. Мол, нету способности у меня к этому нужному, необходимому занятию. И ладно.

— Раз уж оставил мне племянник этот прибор ещё на день, может, поищем ваш клад?

— Вот не поняла, — произнесла бабушка.

— А чего понимать. Все знают, что свекровь твоя, ну, что в этом дому жила, была мелкопоместная дворянка. И золотишко у нее было нехило. И говорят, что перед приходом сюда советской власти, она в подполье-то в вашем всё и зарыла.

— Чирьяк там, а не золото, — сказала бабушка. — Жаба живёт, чёрная, с башку твою непутевую.

Но Куторкин умел уговаривать.

— А хотя — валяй, — сказала бабушка. — Поди, предохранитель от приемника найдешь, на прошлой неделе упал в щёлку.

Притащили мы две переноски. Развесили жёлтые лампочки на гвозди. Две лопаты кинули. Дед Куторкин бережно пронес в темное нутро прибор, который поджидал его в сенях. Наушники напялил. И сразу

мероприятие потеряло всякую серьёзность. Дед в наушниках — этакий престарелый лысый чебурашка.

В подполе было прохладно и пахло ссохшейся землей. И ещё чем-то. Странным, потусторонним. В детстве ощущений этой потусторонности больше. Может быть, потому, что не успел забыть ещё, отдаться от того мира? Из которого пришел. И уйдешь потом.

Вдруг с другой стороны подпола что-то зашевелилось. Засквозил холодный ветерок, мёртвые корни трав, ещё торчавшие кое-где, шевельнулись. Я подумал: сколько же лет они не видели солнца? Там кашлянули. Я заорал, попятился, наступил на ногу деду, он тоже заорал, не снимая наушников. Осветили фонариком, там стояла кадушкоподобная Чёрная.

— Клад ищете? — не обратив ни малейшего внимания на наш переполох, поставила на утоптанную землю, по которой ходили ноги ещё пррапрадедов наших, стул с высокой спинкой рококо, плюхнулась на него.

— Я с вами.

Села. Нога на ногу, мужицкие пальцы сомкнув на колене.

— Копай!

Бабушка же, будто не веря в то, что мы можем там чего-то такое отыскать, уселась в доме, на пол, свесив ноги в шерстяных носках в творило. И так болтала ими.

За два с лишним часа работы мы нашли: велосипедную старинную фару, два замка амбарных, ещё кованых вручную, безмен, пудовую гирю, коробку

заржавевших в комок пишущих перьев, длиннющие петли от сундука (тоже кованые), но не сам сундук, ну и по мелочи: три гильзы от СВД...

В одном из углов дед Куторкин обнаружил камни. Я выкапывал их лопатой. Камни были разного размера, но гладкие, будто над ними потрудилось море.

Вдруг как спохватится бабушка:

— Ах, ты ж. Это же китешка.

— Чё? — пробасила Чёрная.

— Помнишь, Дарью-то (так звали бабушкину свекровь, а мою прабабку), она всё камни носила. Её спрашивали: зачем? Слова, говорит, это, китешки. А словами этими можно и дом построить и от врага оборониться. Я ничё не поняла тогда. И щас, признаюсь, не знаю, накой они мне.

— А кто по национальности-то она была? — спросил дед Куторкин.

— А кто ж её знает, — вещала бабушка сверху. — Когда помирала, всё бубнила: чудь, чудь. Я себе думала: чудила ты, а не чудь, сколько крови из меня попила. А она ж перед большевиками хотела в Беликов овраг уйти, к озеру. Вырыть там, на берегу, себе землянку такую, как будто нору лисью, под холмом, подпорки из берёзен установить. А как враги придут, убрать подпорки и аля-улю. Но Василий, дед твой, не пустил. Зверская была старообрядка, камни вот эти палкой проверяла, когда ей их привозили. Хрясь — если расшибёт, то тому, кто привёз, по горбу этой палкой. И твердила все: китешка, китешка.

— Может, Китеж? Ну, который вроде под воду ушёл, а на самом деле, люди древние те, как и свекровь твоя, подпорочки в землянке (они тоже

специально их перед смертью или перед приходом врага строили) у озера топориком хрясь, — сдвинув один громоздкий наушник с уха, предположил дед. Из оттопыренного этого наушника грянула музыка, дед кинул их о землю испуганно, как черную жабу, попадись она случайно ему в ладони. Голос из наушников пел:

Нам уже не нужны глаза твои,  
Нам уже не нужны глаза твои,  
Побывали уже в глазах твоих,  
И всё, что нам нужно, взяли.

— Йех ты, железяку цепанул, фонит как, — дивился Куторкин. — Будто антенна работает.

Мы помолчали. А Чёрная, слывущая по утверждениям механизаторов из соседней деревни ведьмой, ибо в лунные ночи летает над полями и лесами в колесе от трактора «Беларусь», ничего не сказала. Только на пальцы свои дохнула: «Ха-а-а-а».

## Чем пахнет космос

В праздники деревенские бабки по очереди топили баню. Соломенная, похожая на мокрую курицу, она кособоко тулилась по ту сторону озера. А сразу за ней и крапивой начиналась кочковатая степь да заливные луга.

И вот пока мы таскали воду, выливали в чаны — там, за старым срубом с осыпавшейся из пазов глиной, не умолкали чибисы. Бестолковые, хохлатые птицы, родившиеся, кажется, с единственным вопросом к существу человеческому.

— Чьи вы? Чьи вы? — пищали они, с таким императивом, надсадой и ноткой тоски, будто и правда знать это им было позарез необходимо и интересно. Любой ответ — шуточный или серьёзный был, конечно, неправильный. И они продолжали, не сбавляя.

А мы весело расплескивали из вёдер в кеды небо. Гадали по дыму, какой к сумеркам будет клев.

Старухи мылись. Затем бабушка с тяжелой одышкой, в ночнушке до пола, купала нас. Воздух в предбаннике измерялся в промилях, а солома под ногами казалась масляной.

И уже после в чьей-нибудь избе начиналась гуль-

ба.

Дед Куторкин по обыкновению чудил. Старухи вторили ему. Миха дрых, а я на грани какой-то зыбучей реальности слушал разговоры. И что-то тихо щекотало от голосов внутри головы, в темени. Словно там, под черепной моей коробкой, ходил, терся о косяки мыслей кот, выписывал восьмёрки, толкал лбом в бесконечность и приятными мурашками трещал, щурился.

После яств и самогона, они играли в карты, вспоминали, спорили. И если потом шли на воздух, то тем всё и заканчивалось. А если поддавали ещё малость, то переходили в стадию песен, а потом по традиции плача. Дед не любил этого, отчаливал.

Конечно, в детстве мир настолько же преувеличенно прекрасен, насколько и трагичен. Всё на пределе. Но когда за плач брались бабки, у каждой из которых такие неподъёмные узлы горестей и печалей на палочке, перекинутой через плечо, то вообще была полная уверенность, что все скоро кончится. Что будущего нет и мы никому не нужны.

«Ничьи мы!»

Обычно в этот момент я рыдал, а Миха начинал гнусно портить воздух и утверждал потом, засранец, что он это вовсе не специально.

Или в кухне случайно брал с полки самую нижнюю тарелку из стопки. Видимо, он тоже не выносил ни песен, ни плача. Нужен был какой-то диссонанс.

А однажды в такой пир нас дома не было, мы туда из леса возвращались. Сквозь распахнутые рамы элегично выводила Марина Журавлева «Облаками белыми, белыми».

Потом включили ламбаду... Имелась у нас на магнитной пленке такая вот роскошь. Бабушка очень даже прилично могла исполнить это латино. Дверь в дощатый погреб у соседского дома была незаперта. Мы заглянули. От стрёхи в темень уходила ужом веревка, покачивалась. Когда глаза привыкли, мы узрели бабу Поля.

Она повесилась.

Миха был расторопнее, схватил ржавое лезвие косы, заткнутой за горбыль погреба, рубанул по витому. Бабка свалилась.

Прибежали старухи, вынули её и, как это ни странно, она выжила. Баба Поля сидела на траве возле дома в одном галоше, совершенно чумная, раскаивающаяся ещё в ритм веревке. Морщась, пила маленькими глотками воду из ковша.

— На губах прям горечь, как угля наелась, — сипло почти шепотом говорила она.

Позже она поведает, как летела уже куда-то, как скорость была такая, что она от ужаса прикусила язык.

— Эхе-хе, Царица небесная, — выдохнула бабушка. Только она могла с такой интонацией сказать эти простые слова так, что в них, произнесенных, умешалась целая книга под названием «Исход». И весь человек — земной и небесный.

Бабка Поля — щедрушая, сгорбленная, сухая жила в соседнем доме с бабкой Нюрой, которой приписывали колдовские навыки, и у которой была лошадь по кличке Аня, вернись.

Анна Михайловна была властная, могучая, крутая. Бабка Поля — временами занудная, тихая

и вечно в работе.

Иной раз смотришь в поле — стог сена вроде бы сам по себе идет. А нет. Это бабка Поля его на спине волочет. А зачем? А накосила. Сгодится, чай.

Ей никогда не нравились наши с Михой прыжки с крыши амбара, на фургон-каблучок «Москвич», который стоял без колес и служил нашему Шарику довольно просторной конуркой. Мы шумели железом. Не нравилось, как мы в навозной куче запалили как-то костёр, и из гудрона в обычном ведре с добавлением козьего молока, пытались состряпать настоящую жвачку. Она ворчала на наших родителей:

— Выдрыснут одного-двоих (имелись в виду дети) они потом и вырастают нахалами.

А весь тот день она ходила такая нездешняя, светлая.

Нам была тогда притягательна смерть, и мы хотели расспросить её подробней о полёте туда, в вечность, но не решались.

А вечером с дедом Куторкиным мы катались на свинье. Ну, пытались получить rodeo.

Жирная Глаша с висячим подбородком так взбрывала, так визжала, и, когда мы валились с неё, убегала за амбар. Оттуда высовывалась, смотрела на нас ничего не понимающими глазками партийного функционера. Будто спрашивала:

— Чего вам, гадам, надо-то. Объясните, я поднажусь, сделаю.

Мы загнали её, пылающую, к деду во двор.

Шел август. Даже не шел, а рушился. Звездами в полынь.

Мы сидели на скамейке перед домом и считали



рисунок фрау Шпигель

их, не успевая загадать ничего путного.

— А я в воспоминаниях Армстронга читал, — вспорол тишину дед, и опять сделал вертикальным козырёк от картуза, — у наших космонавтов тоже. Что углем там пахнет, сваркой и железной дорогой.

Тихо, неспешно, вразвалочку шествовали друг за дружкой две медведицы — большая и поменьше. Чибис пролетел. Но ничего у нас так и не спросил.

## Светопись

К осени небо предпочитало очевидный монументализм. Облака делались громоздкими, медленными, задумчивыми. Как будто бы разочаровывались в чем-то, во что верили, любили чего...

Дед Куторкин перебирал свои могучие закрома и обнаружил в них фотоаппарат. И не какой-нибудь там ущербный «ФЭД», или «Этюд», а самый что ни на есть «Зенит».

Немного запыхавшийся, но, впрочем, унявший бешеное биение сердца, он с достоинством вырнули к нашему огородному чугуну. Бабушка на костре свиньям варила:

— Я так и знал, — крикнул он, — я так и знал! Мы запечатлеем умирание нашей деревни красиво. Словно это и не деревня вовсе, а великий индейский штат Айдахо или, скажем, поселение Мачу-Пикчу.

— Мощно выступил, — бабушка выплеснула в бурьян ведро с отходами. — Только кто это — мы?

— Мы... мыслящие, прогрессивные индивиды.

— Тьфу, — сказала она и ушла.

Дед Куторкин меж тем не угомонился. Он сел на велик «Десна» с лысыми покрышками, помчал

в соседнее село, два раза упал по пути в кукурузу, но покрышки тут ни при чём. Просто, ошелев, дед пренебрег закалыванием брючины посредством бельевой прищепки. Так делало все прогрессивное мальчишество. Ездил дед на ферму, только в её благоуханных интерьерах имелся тогда ближайший телефон. И там под добродушные звуки му старик Куторкин обсказал свою нечаянную радость недоведенному племяннику. Через день тот привез четыре волшебные коробочки с загадочной надписью «Тасма-65».

Пользоваться фотокамерой дед (ясно) не умел, а я был типом поднаторевшим. Год занимался в Доме пионеров. Засиживались там допоздна. В темноте возвращаешься, тётины в светлых окнах копошатся, ужины оболтусам готовят. Сосед Эрнест Леонельевич на лестничной клетке с примотанной к перилам консервной банкой сидит на корточках, в дерматиновых тапках с надписью «травм.» И сосредоточенно превращает в пепел сложноподчиненные предложения из газеты, в клочок которой завернута его махорка. Затягивается, щурясь, и спрашивает:

— Чет поздновато? Небось, чувиха появилась?

— Да не, — тушевался я, — из фотокружка. И промахивал его приятное благоуханное облако.

— Вот бы и мне записаться в какой-нибудь таковой водлокружок, — с тоскою бубнил он.

Словом, заряжать плёнку, в прямом смысле обливаясь потом под ватным одеялом, облицованым бабушкой вместо ткани красивыми флагами Туркмении (других на складе у тетки по всей видимости не было), заправлять в кассеты, а затем в фотоба-

чок, — приходилось мне.

Дед помолодел и заколготился. Более того — он довольно ощутимо переменил жизнь нашу и скотного двора в частности. Куры стали ходить в сарай окольными путями, через крапиву. Кот попадал на печь посредством подпола и истошного орал оттуда. Коза, закатывая зенки, очень талантливо, с этаким зависанием, падала в обмороки, когда дед Куторкин, подкараулив, кричал ей «А вот портретик, не хотите ли?»

— Земляне, вы с какого дуба рухнули!? — ворчала на нас бабушка.

При этом дед всё равно выступал больше, как теперь сказали бы, продюсером, кастинг-директором. И требовал моего присутствия.

Часов с пяти утра он сидел на скамейке перед нашим домом и вздыхал. Я появлялся на крыльце, чтоб пописать, тёр глаза, искал обувь.

— Ты что топишь-то? — с укоризной произнес он.

Спросоня я таращил глаза: как топлю-то? Я ведь еще и не начал.

— Деревне, может, от силы лет пять жизни осталось. А он на массу давит.

Я усердно пытаюсь напялить на левую ногу правую калошу.

— Между прочим, волчью нору обнаружил, там, в лощине, — продолжал абориген. — Можем попытать удачу.

— В смысле?

— Ну, карточки потом в «Нэшнл Географик» вышлем.

— Или черепа.

— Чего? — переспрашивал.

— А, — махал я рукой, и зевал.

— Э? Ты, Чингачгук Большая Оплеуха, Полученная от моей трудовой ладони, которой я тебе щас звездану, — летом в окошке мы стекло убираем, и сажаем туда марлю с помощью канцелярских кнопок. Поэтому слышимость прекрасная. Поэтому бабушка и костерит Куторкина. — Оставь мальчишку в покое, в туалет не даст сходить.

— Да пусть идёт, — удивленно и даже с досадой разрешает дед.

На протяжении двух или трёх недель он притаскивает мне какие-то совершенно безумные идеи — одна хлеще другой. То небо днем из колодца сфотографировать, чтоб увидеть при свете дня звезды, то уговорить Ваню Курохвата из эмсэо, приехать к нам на подъёмном кране «Ивановец» задрать стрелу, «а мы оттуда роскошнейшую панораму сообразим.

А иногда дед впадал в состояние, называемое им же самим «в слюни».

— Уходит. Жизнь уходит, — оправдывался он после бабушкиного втыка. И так просто это говорил. Что вот да, жизнь, да жизнь — это нечто, безусловно, важное, как пеший поход по прекрасной местности, но, что поделать, всегда настает момент, когда возвращаться пора.

— Бывает, получишь в морду от бытия, постоишь на краешке жизни. Но спасёшься. Через время придёшь в себя. И вот дня три после — кайф. Только эти три дня ты по-настоящему и живешь, не боясь ничего, отчаянно, с размахом. Без суеты внутри, ценишь

всякую минутку, и каждого человека любишь или жалеешь, шиш разберешь. А потом опять — погрузишься в эту серятину — год, десять, пятнадцать. Глядь, а уже и твоя очередь. Так просто, как в магазине; а это, что ли, всё, думаешь потом? По сути-то ведь не было ж ничего такого — стоящего, я ж еще только вот собирался подвиг совершить. И так досадно, йо. Досадно, что вот всё так вот обыденно, что ли. Без того пиетета к жизни, который должен был быть. Захоронят, как нечто уже нездешнее, и трактовать тебя станут по-своему. Ты, может, этого никогда и не имел в виду, а попробуй теперь возрази. Сорок дней, годовщины, а потом и вовсе забудут. Словно и не жил такой человек...

Он доставал большой, как лопух, носовой платок из кармана, сморкал шумно.

— Ночью спиши, а яблоки по шиферной крыше скатываются и гулко плюхаются об землю — тук, тук, как будто кони в нетерпеже копытами бьют. Лежиши вот так в полной темноте, кромешной темени, кузнечики стрекотать перестали и думаешь: ничего. Ничего. Скоро поедем, скоро запряжем. Но с другой, ёмае, стороны — впереди самая большая тайна, о которой никто так и не проболтался. Есть там чо? — он кивал выше козырька своего картуза. — Но мне легче. У меня уговор с самим собою. Вот мы помрём, а поля, снег наш здешний, особенный, нигде такого не видал, рассыпчатый, пахнущий яблоками и облачками — останется. И лес.

— Чего лес?

— Лес... тоже останется, — говорил он как-то так про лес, как про друга и радовался, радовался, радо-

вался, что тот ещё поживет.

Однажды дед пришел поутру. Мы договаривались. Червей с вечера накопали. Собирались на озеро к его мосткам порыбачить.

Миновали плотину. Туман, как сытый, довольный кот с боку на бок переваливался на лугу, а в лощине, что связывала по весне талой водой два озера — глубокое и наше, мелкое — трава колыхалась. Мы с дедом подумали, бобр или ондатра. Подкрались, медленно-медленно стали поднимать головы, и такую узрели картину: по этим травам, по этим росам сахарным, извиваясь, перебирались из нашего озера, мелкого, в большое крупненькие (размером деду по локоть) выноны. И делали они это совершенно осознанно, по какому-то неведомому, будто известному только им, маршруту. «Вот те крест, — говорил потом дед бабушке и соседке Чёрной, а сам на автомате проводил по шее большим пальцем типа „век воли не видать“, — целым этапом чалили, все, считай, переехали. Чумааа»!!!

Правда, фотокамеры на этот раз у деда не было, пока он метнулся, пока сбежал, пока взвёл затвор «Зенита» — внутри хрустнуло, последняя кассета с пленкой закончилась, он опустил руки, как веревки.

— А с другой стороны, — словно опять о чем-то договорившись с собою и довольный этим, произнес он, это же чудо было, явленное нам, дуракам, а чудеса — не кино, их только избранным дают поглядеть.

Рыбалка наша тоже накрылась. Мы присели в тени серой большой копны. Дед Куторкин снял

рубаху и запрокинул к небу лицо, закрыл глаза. Я впервые увидел наколки на его груди и спине. Папа потом смог расшифровать их. Оказывается, у деда было четыре ходки.

День разогревался, парил. В заброшенных садах поспела бузина; и так густо всюду пахло крапивой; запах ее щекотал сердце, будил генные какие-то нотки из очень далекого прошлого, которое накрывало порой удивлением и даже недоумением. Ты стоял ошарашенный: а ведь точно такое же со мною когда-то было. Стai дроздов, наклевавших бузины, обlopавших ее дурмана, летали пьянейские такие, такие счастливые.

Над нами прошествовало огромное облако. И запах был от него, как от опавших яблок. Скоро поедем, скоро запряжем.

## *Катина ракета*

Болячки свои старухи, как правило, пытались ликвидировать сами. Кто самогоном, настоящим на мухоморе, кто коровьей лепёшкой, привязанной к зудящему месту. Одна бабка услышала от кого-то, что можно лечиться мочой. И лучше детской. Бегала с ковшиком за внуком: ну чирикни, милок, посикай, что те трудно, гадёныш?

А иногда в деревню всё же наведывался демиург фельдшерского искусства по прозвищу Филин. Звали его так, вероятно, из-за бровей; прибрежные кусты, чертополох в лугах — не прорваться, вот какие были у него брови. А может, и по другой причине. Путь ассоциаций извилист и нелеп.

Был Филин с пресной, чуть посвистывающей одышкой, фигуристый, как пингвин, но, на удивление, прыткий. Шмыг в автомобиль свой по кличке «Запорожец». У бабушки голубой был, с ушами, а у него морковный, слабенький. Впрочем, его-то везти усилия, тужился, но усилия.

Филин обследовал старух. Щупал, иногда жал.

По всему было видно, что процедуры эти его тяготят, они портят ему настроение, а вместе с ним

печень и жизнь. Он давно проклял весь этот крепчайший повсеместный урбанизм, проделавший нехилую прореху в смычке между городом и деревней. Контингент с каждым годом становился менее влекущим и волнующим. Чо там щупать-то? Да и, откровенно говоря, жать тоже совсем нечего. Так — тряпочки.

И Филин вздыхал, как вздыхает по ночам его лесной брат.

Однажды прочесал по улице, цинично так, с пыльцой, а к нам даже не заехал. Спустя время баба Таня Максимова явилась, будто лужа взбаламученная.

Баб Таня Максимова обладатель множества медалей за труд, лучший подражатель голосам всех птиц (филина, кстати, тоже), мой личный тренер по прыжкам в высоту через забор, по игре на балалайке и надуванию лягушек соломинкой.

— Что ж делать-то? — произнесла она тоном отнюдь не риторическим.

Бабушка отложила недовязанную пятку носка, пытаясь что-то понять по ноткам.

— Филин приезжал, — продолжила баба Таня. — Сказал, рак у меня.

Она попила ковшом из ведра воды колодезной, выудила мизинцем муху, откинула её прочь.

— А я, дура, замуж собралась.

— Ории!!! — на вдохе, обмирая, как обмирают, получив самую, что ни на есть, огнестрельную пулю в грудь, произнесла бабушка.

На их диалекте это значило что-то вроде «ну ни фига ж себе», «почему я только сейчас об этом слы-

шу», далее по ниспадающей: «ага, кто на тя такую тока позарится», потом неразборчиво.

— Позуправ те говорю, — ответствовала та.

И вот тут бабушка сформулировала такое, какое в подобную минуту может прийти в голову только женщине, при этом обязательно проживающей на одной девятой части суши:

— А кто он?

— А, — отмахнулась баба Таня, впрочем, довольно кокетливо, — городской, ты яво не знашь.

К вечеру всё население деревни — все шесть человек — были в курсе, что у Таньки, как звали её по-уличному, рак. И поддерживали, но довольно оригинально.

— Ты на смерть-то всё припасла? Поди, надо чо? — интересовалась Чёрная.

— Что ты, Нюрка, да и тебе ищ останется, — подробному ответствовала та.

Дед Куторкин молчал, бабушка тоже.

А баб Таня доставала свою горьковскую гармошку и давала жару.

Изредка, иногда она включала итальянскую женщины. В окно летели всякие платки, по-цыгански цветастые юбки, посуда. А потом опять радость, гармонь и возглас срывающийся:

— Катя, танцуй!

А Катя тут как тут. Грузная, с детским, однако, пятидесятилетним лицом, поднимает руки, как девочка, и кружится, наяривает с улыбкой блаженства.

Бабе Тане Максимовой была Катя дочь. У Кати отсутствовала членораздельная речь (только умное

мычанье), она не попадала ложкой в собственный рот. И так с детства.

Днём, если тепло, Катю можно было видеть сидящей на скамеечке под белёным окном. Она о чём-то думала и раскачивалась, как великий тренер Лобановский.

Иногда Катя брала в левую руку упавший с ветлы под ноги ивовый прутик, и рисовала им в пыли. Какой-то огромный глаз, а в нём линии и ракету. Бывало, такими рисунками она доводила себя до исступления, рисовала, на что-то указывала, раскачивалась, обхватив грудь, и выла. Поэтому баба Таня, прежде чем усадить Катю на лавочку, убирала из-под ног все предметы, любой сор, которым можно было произвести графику.

За поспевшими яблоками или сливой из соседней деревни приезжали на великах пацаны. Они были старше, нахальнее, и какие-то более житейские, что ли, чем я.

Если Катя была на посту, а баба Таня где-нибудь в огороде, они просили:

— Кать, покажи цветочек.

Катя охотно задирала юбку, раздвигала пышные белые ляжки. И так басовито смеялась, смеялась, что даже те проходные пацаны убегали.

Всю жизнь Катя была главной привязью бабы Тани. Муж умер от ранений в конце войны. А Катя родилась в самый День Победы. Если баба Таня куда-то отлучалась надолго, бабушка шла к ним в избу и жила с Катей, кормила её из ложки.

И вот Филин предрёк, наухал, «выписал» от силы «вот это лето, осень, ну, может, зима». И та готови-

лась.

А в августе, в самом конце, сгношила всех аборигенов на футбольный матч. Мы с июня уже не играли, и надо же было как-то закрыть сезон, закончить эту историю.

На лугу — табуретки, калоши, ковёр с оленями, тяжелый, но прохладный на ощупь; стол, два ведра и аптечка с валидолом да нашатырем. Баба Таня — мой любимый хавбек. Дед Куторкин, как обычно, соскочил на судейство. Зато все остальные заведённые.

Из зрителей две козы, привязанная лошадь Аня, вернись. И Бог.

Баба Нюра Чёрная постоянно нарушала правила, дед Куторкин на свой страх свистел, а та каждый раз обещала проверить, полезет ли этот свисток в дедову глотку.

Бабушка стояла на воротах нашего с Танькой соперника в варежках и потихоньку распускала их — «всё равно моль пожрала, перевязать надо».

Танька, мой прекрасный хавбек с живым раком в организме, ловила летящий мяч фартуком, оттопырив его за два конца. И когда мяч туда падал, неслась, как оглашенная, калоши сверкали на солнце, шерстяные носки, как гетры в полосочку, торчали из них. Баба Таня вываливала мяч «из подла». Как допустим яблоки или грибы. И аккуратненько, «щёчкой», закатывала его мимо распускающей варежку бабушки в левый нижний угол.

— Это не по-футбольному! — голосила Чёрная. — Слыши ты, чертов судья? Это не по-футбольному. Штрафани эту гадину.

Дед Куторкин разводил руками: мол, касания ладоней не было, что я могу? Разве что зафиксировать пробежку, но это ж и не баскетбол вроде. В общем, на почве этой английской игры старухи ссорились вдрызг, невольно начинали играть в вышибалы. А Катя сидела на табурете под деревом, ухахатываясь, и, повизгивая, хлопала в ладоши. Ей нравилось всё, ей нравилось все до умопомрачения.

Дед Куторкин, решивший пресечь безобразие, типа: вы в футбол играете или дурака валяете, был нещадно закидан калошами и прочими артефактами, попавшими под руку.

Потом все пили эмалированными кружками воду, отдувались, унявшись, улыбались и обсуждали со смехом самые горячие моменты.

Так закончилось лето. Минула осень. Зимой, готовясь на небеса, баба Таня отвезла Катю в дом престарелых. Та сперва объявила голодовку, но, видно, таких там уйма, и с ней не особо чикались. Каким-то чудом она умудрилась сбежать. Нашли её весной, когда оттаяло. Километрах в десяти от деревни, в омёте соломы. Прижалась спиной к туловищам хлебных стеблей, и застыла с блаженной улыбкой.

Баба Таня, горем убитая, долго лежала под обrazами и умирала. Оставалось-то совсем чуть-чуть.

Но всё же ничего не вышло. Похудела только килограммов на двадцать.

Потом она ехала с бабушкой на «Запорожце» в районную больницу, шла по коридору и звенела медалями. В кабинете баба Таня протянула листок бумаги, ручку и тихо сказала доктору:

— Пиши число, когда я умру. Весна уже прошла,

я все летние платья раздала, мне зимой обещали. Нигде порядка нет, ничо до конца довести не умеют.

Потом её обследовали повторно, сказали:

— Ну, надо же. Так не бывает.

Баба Таня плюнула и вышла замуж.

Никакой свадьбы, конечно, не было. Была просто гулянка, которая у старух отождествлялась не с пьяной, а с возможностью прожить весело ещё один драгоценный земной день. Столы накрыли прям под небом. Частушки пели, просили меня включить на кассетнике что-то ещё, только не Надежду Кадышеву. Я втыкал им Deep Purple.

— Ничего такая музыка, бодрит, — говорила баба Таня. — Как группа-то называется?

— Глубоко фиолетово.

— А? — переспрашивала она.

— По фигу, — вольно переводил я.

Козы тырили маринад прямо с тарелок, дед Куторкин строгал из толстого ивового прута третью свистульку. И солнце долго-долго о чём-то шепталось с чьими-то тенями в малине.

А утром я пошёл за фонарём. Стол был не разобран. Пахло салатом и морем. В соседней деревне, как бурятский шаман, козырно владеющий горловым пением, заработал гудок коровьей дойки. Под столом поверх множества пыльных следов прутиком был прочерчен огромный глаз.

И линии в нём.

То ли провода, то ль дороги.

Ракеты не было.

Улетела.



рисунок фрау Шпигель

## Одна-жды

Я перевязал бечевкой стопку книг, привёз их в деревню.

Бабушка глянула и отшатнулась.

— Ой, болезный, все-то прочиташь разве?

Я усмехнулся, потому что делать это вовсе и не собирался.

— Жизнь как мышь по столу — шмыг. Сапогом кинуть не успеешь. А и успеешь — только горшки побьёшь. А тут книжки, ала-ла одна.

— Как ты говоришь?

— Ала-ла. Ну, эт когда человек становится вроде как с приветом. Ну, ку-ку значит.

— А вот и я, — завозился у порога дед Куторкин. — Звали?

— Вот те пример, — вполголоса ответствовала бабушка, — небось, три тракторных тележки да ЗИЛ с прицепом книжек за свою жизнь прочитал. А толку? Бошка пуста? Опыт он из жизни все равно, а не из бумаги — хрясть в ухо.

Дед Куторкин покосился на мой тюк, выудил оттуда «Современный русский язык» под редакцией Дитмаря Эльяшевича Розенталя. Нанадолго завис

над фамилией.

Положил узенькую рамку с медом, завёрнутую в газету на стол, а учебник попросил на время. Я дал. Говорю же: не собирался читать, взял для успокоения совести: мол, будет дождь, тогда и...

После этого старик регулярно являлся и докладывал.

— Любопытная такая книженция. Существенная.

— И неопределенно-личная, — пытался пошутить я.

— Чо? Ты знал, например, что язык, словарный запас может рассказать о человечестве больше, чем целая орда социологов и психологов. По языку же, например, можно судить в каком обществе состояния находится.

Или вот такая сцена, придет вроде как по делу:

— У меня тут версия родилась. Проснулся я сегодня утром и подумал о происхождении, этимологии, так сказать, некоторых числительных.

— Етитский дух, — перебила бабушка. — Проснулась я утром и тужу, прям тужу: двадцать дён вёдро стоит, дождя ни капли, картошку сразу жареную будем копать, а он про происхождения всякие. Числительные хороши, когда ими можно как уж это? (она соорудила из пальцев щепотку, пожамкала ею, подыскивая нужное слово) апеллировать. Во!

Дед Куторкин не ввязывался в словесное это фехтование, он мнил себя выше этого. А то нет — почти филолог.

— Ну и вот. Я подумал: есть числительные однажды, дважды, трижды. Тогда как четырежды, пятижды, шестижды — таких попросту не существует.

Он посмотрел, как бабочка бьется в окне, на самом деле паузу выдерживал.

— И почему же это? — с некоторой досадой, что приходится вроде как канючить, задавать вопрос этому вечно умничающему старишке, зануде, произнесла бабушка.

— А вот, — встрепенулся дед. — Не исключено, что раньше четверть русского самогона называлась «жды». Собирались мужики и квасили. Одна-жды, два-жды, три-жды. После этого, как правило, на ногах не стоял никто, поэтому числительных четыре-жды, пяти-жды, а уж тем более шести-жды не существует.

— Не поняла, — застыла бабушка. — Так это правда, штоль, про четверть иль нет?

— Нууу, это так, — юлил дед. — Фигурально выражаясь.

— Тыфу на тебя четырежды. Чирий на язык. А я поверила, уши растопырила. Хотела слова про мочу в твоей голове обратно взять. Теперь, чую, добавить надо.

Дед Куторкин весь июль месяц да август мусолил учебник — междометия там разные, но больше ему нравились глаголы. В них, говорил он, пружина жизни.

— Так интересно, за существительными предметы, за глаголами — действия, все, все в мире имеет название и значение. А потом человек офигевает и начинает врать, и за одними словами уже совсем не то видится. И каша у людей становится в голове. Слова слабыми становятся, а значит и поступки. Я вот представления не имею, как будут люди общаться-

ся, скажем, лет уже через тридцать. Кому будут верить? Без этого же сбрендишь и рехнёшься.

В ту осень бабушка решила задержаться подольше. И семестр в университете был такой — благоволящий. В пятницу — одна пара, и то — лекции. Я брал железнодорожный билет на четверг, и все последующие дни он жег мне карман.

А в четвёртое утро недели просыпался — и беспринципное счастье.

Мы копали картошку и находили в бороздах глупых ещё совсем зайцев. Затаится, уши к спине прижмёт, нос в лапы, думает не видно, терпит до последнего, может, мимо пройдёшь. А тронешь — всыхнет, точно порох, сиганет с места, порвав материю земную, а потом в пустом поле далеко видно как прыгает, зависает в полётах.

А в полях как будто таяла к середине дня, а потом опять густела синяя дымка.

В октябре хороши были походы за последними опятами. Солнце ещё только один глаз приоткрыло, а мы уже лес прочесываем. На спинах брезентовые рюкзаки, из воздуха можно рюмки делать, графины, пузирочки, бутылочки. Сами опята у зеленых махровых корней дуба, как произведения стеклодувного искусства — хрупкие. Шмыг ножичком — полведра. И звенят.

А к обеду лужи демонстрируют своё волшебство. Горят тихо, как керосиновые фонари. Потому что дно их выложено осиновыми листьями — красными, оранжевыми.

Ходим, ходим. И вот привал. Найдем берёзку поваленную, костёр растуганим. Консервы погреем.

Хлеб — половину каравая, завернутого обязатель но в полотенце, «рушник» как прислоненную к груди луну, бабушка режет нераскладывающимся ножиком, по направлению к себе, а не на газете вовсе. Чайник — маленький, походный, закопчённый танцует уже крышкой: обед, обед, пожрём щас. Стаканы у нас с подстаканниками. Я сейчас думаю: и охота было всё это волочь бабушке на себе? Но ведь это было не только красиво. Что-то таилось в этом действии еще — нужное, необходимое.

Набираем по корзине и чешем, у каждого из нас именная палка для пеших походов. С узорами какими-то мордовскими — дед Куторкин делал.

Бабушка любила такие длительные походы.

Она говорила:

— Человек должен быть постоянно занятым, пахать физически. Преодолевать себя, в общем. Каждый день. Это удивительная штука. Когда не хочешь, а надо, и ты делаешь. Преодолеешь себя — радость к жизни подкопишь. Когда можешь что-то делать руками, это всегда плюс. Когда умеешь дружить с дорогой — плюс жирный. Вот я в город приезжаю... И как-то к их жизни все же приспособливаюсь, могу жить в их среде, а у них свет выключат, компьютеры эти сдохнут — они в нашей вряд ли.

По возвращению, очистив добычу от сора и трав, бабушка на чугунной большой сковородке жарила картошку с опятами. И запахстоял! Разложив всё куда надо, она ставила две стопки (да, мне уже было иногда можно пригнуть с нею, тайком от родителей), ныряла в подпол и подавала мне бутыль с крупинками земли.

— Одна-жды, — улыбалась и тихонечко чокалась со мною, как со взрослым.

## ***Приходи ко мне поплакать***

Когда старухи впадали в кручину, они яростно метали в амбарную дверь финские топоры:

— Хэй!!!

Дед Куторкин собирал шитый-перешитый брезентовый рюкзак и шёл в лес.

С недавних пор лес стал для него субстанцией родной и метафоричной. В нем всегда можно было найти подтверждение тому, что природой (то есть Богом) все так досконально продумано. До мелочей. Что просто смотри, вникай, запоминай, не мешай и будет тебе, если не счастье, то уж покой-то обязательно. Ну и воля.

Сыромятиной к высоченной красной сосне были приложены крепкие палки, что делало ствол подобием лестницы. А там, в кущах, где дед оборудовал на американский манер целый дом, он сидел в мягоньком кресле, подпоясанный страховочной верёвкой, и зырил в бинокль. Простор открывался широкий — плывущий у горизонта воздух шевелил дали, холмы, поросшие сосновой и дубом. И кусок

дороги.

Иногда Куторкин убивал время так до ночи. И не один день. А случалось — «везло» сразу.

Свист тормозов, звон стекла, глухие удары от кувырков и наконец, — тишина. Отличительная от нормальной тишины — немая. Дед Куторкин быстро, насколько умел, сигал с сосны, вприпрыжку чесал к месту аварии.

Говорили, что изгиб, кусок этой, в общем-то, глубоко второстепенной дороги являлся собственностю силы нечистой, колдовской. Которая на удивление быстро управлялось с ямочными ремонтами, и не клянчила денег у государства. Гладкая там всегда была дорога, катись.

Если человек в машине оказывался ещё живым, дед совершал первую медпомощь, и по мобильнику хозяина вызывал скорую.

Сам уходил.

Если же человек делался трупом, дед какими-то цепким, волчьим взглядом обозревал периметр, ловким движеньем обхватывал покойного за запястья, и тащил на спине к лесу. Там уже из орешника готовы две слеги, посередке — большая ветка сосны. Шесть километров без дороги, но и не по валежнику, тайной тропой, Куторкин тащил водилу через ручьи и балки. Не забыв, впрочем, прихватить из автомобиля документы усопшего.

Иногда с разбившимся приходилось повозиться — двери клинило. Но в рюкзаке у деда имелись странные приспособления, да и сила еще не покинула.

В деревне старухи покойного мыли и обряжали

в допотопные, пропахшие плесенью одёжи. И радовались, радовались:

— Наплачемся теперь вволю! — блестели глазами они.

Дед же Куторкин шёл в сад, усаживался на яблоневый пенёк и дышал в закат. Дыхание было видно.

Куторкину казалось, что ничего кроме вот таких вот походов у него и не было в жизни. Ни молодости бахвальской и желаний перевернуть этот мир, ни блужданий по стране в поисках счастья, ни старух потом, которые и не казались вовсе старухами, и он играл с ними и с их внуками в футбол, ни кобылы со странной кличкой Аня, вернись. Ему казалось, что он давно сошёл с ума, или спит. И всё ему снится.

\*\*\*

Дед Куторкин исчез из нашей деревни внезапно, когда кончился август. Исчез и всё. Не заперев двери, не сказав ничего на прощанье. Мы искали его везде. И только племянник, кажется, был происходящим не очень опечален. Как-никак дом достался, хоть в глуши, но всё же — кирпич бордовый, прочный, с клеймом. Влёт уйдет. К тому же, амбар, телескоп, велосипед — наберется добра. Виниловые вон пластинки. Разные там негры — Монк и прочие. Одних лыж семнадцать пар. Не ахти какое, но наследство.

Наутро Куторкин колотил для покойного гроб. В последнее время он заметил, что делает это даже с большей любовью, чем лыжи. Хотя нет, все-таки нет. Крышку гроба по настоятельному желанию старух он сооружал с маленьким оконцем. Так покойный, утверждали бабуси, типа как в трамвае мог ездить с того света на этот. И сообщать новости. Ага,

кому-нибудь. Из них.

Куторкин не спорил, он вообще явился сюда, чтобы немножечко продлить старухам жизнь. Он шел без расспросов к одной заброшенной (а других и не было) на краю леса избе. Там бабки чинили ритуал. Поджигали глухариные крылья, дед становился затылком на запад, закрывал глаза, а они его этими крыльями окуривали. Размазывали по нему дым. Потом ставили лицом к сеням и с размаху — Хэйя, втыкали в доску над его башкой два топора. После этого старику позволялось зайти в «адову избу», где стоял вполне себе сносный компьютер по имени Мак.

— Цифра кругом, цифра, — кружились старухи.

В компе торчал чёрненький модем. Дед шерстил социальные сети, блоги, ворошил «яндекс» в поисках упоминаний о покойном. И вуала.

Старухи, впрочем, и так могли погрузиться в транс плача.

— Плакать ныня над любой человечей душой можно, — говорили они.

Но все ж необходимы подробности пусть темной, но жизни. Нужны были детали.

Все добытые сведения Куторкин обскривал двум сёстрам. И они начинали. Три дня с отлучкой на «сикать и пить» плакали, исцарапывая криками души свои, рыдали. Пока не падали и не засыпали. Откуда только слез столько?

Дело в том, что старухи были деду Куторкину сёстрами, мордовскими кузинами.

Одна имела диплом осеменителя крупного рогатого скота, другая — служила мирным почтальоном

и любила втыкать в деревья финские топоры. Но в обеих старухах сидело то, что было больше их профессии и навязанных социумом привычек — традиция и память. Матери научили их когда-то плакать. Вот по сути своей они ими и были — плакальщицами. От матери к дочери переходило это умение. Свадьба — их зовут, они оплакивают свободу. Не притворно. Не понарошку. А вводя себя в этакий транс, из которого выход — двое суток мучительного бреда и боли. Похороны — за ними на лошади или машине едут. Узелок всегда готов. Хорошей плакальщице заранее говорили:

— Приходи ко мне поплакать.

Их уважали порой даже больше колхозного бухгалтера или председателя.

Это как песня для них или былина, только в надрыве все, мокре.

Сталин умер — маменьки семь дней плакали. Брежнев почил — уже сами сёстры дедовы причитания сочиняли — не на бумажке, в голове. Никаких канонов. В каждой местности по-своему. Фольклор. И потом на каждый случай — плач разный. Сам человек приставился, без посторонней помощи — одно. Громом убило — другое. Коли с перепою концы отдал — третье.

А в быту как положено — антагонизм. Смешливые были сёстры Марьяна с Урсулой. Сено мечут в копны — мужики кряхтят, а они языками, что бритвой орудуют. Впрочем, и мужья под стать. Ни одного угрюмого.

А как приезжают — аде, урницият. Прямо сразу перевоплощение дикое.

Все свое неудавшееся, непоправимое, саднящее вспомнят, про покойного подумают и рвут воздух так — кошки в обмороки падают. Даже самая старая выпь с озера не сравнится.

В день третий деда впрягали в телегу, гроб с покойным на сено. И горестно, и смешно. И вот это всегдашнее: мы-то пока еще живы.

Дед Куторкин копал могилы загодя. Называл это физкультурой. Когда появится покойник, за три дня многое надо успеть сделать. А тут ещё могила. А каждый день для разгона крови — это ничего. Это даже бодрит. И веночки от ветерка шелестят. Друганов проведать можно, крапиву с них порвать. Посидеть, вспомнить хорошее.

С кладбища шли — старухи круги чертили ножиком, чтобы смерть за ними не следовала.

А на другое утро деду Куторкину надлежало стать заместителем. Ну, покойного. Вообще-то полагалось напялить на себя его одежды, но поскольку все было инсценировкой, он оставался в своем, шапку с какардой милицейской только напяливал. Сидел, выпивал самогон, сотворенный старухами из еловых шишек, и заливал им про загробный мир байки. Иной раз так рассочиняется, что и сам поверит. Расчувствуется.

А потом старухи пели. А дед Куторкин смотрел на них и умилялся. Щека то и дело срывалась с кулака, который ее подпирал.

## Эпилог



рисунок фрау Шпигель

В декабре снег рассыпчат и дивен. А у бабушки всегда к нему пиетет:

— Когда идет снег, — говорит она, — то, кажется, что и гадостей в мире нет больше.

Я катаюсь на лыжах с крыши нашего дома. За неделю, с той стороны, где сад, а за ним сред-

нестатистическое русское поле — наметало сугробов под скатную жесть. Проделав лыжню прямо в лощинку, мы с бабушкой довершаем ее трамплином из негодных листов шифера, засыпаем снегом, смачиваем водой. Это угарно и весело.

Бабушка стоит в сторонке и смотрит на меня, заснеженного. Потом не «вытерпливает», тащит из сарая свои коротенькие, «летящие» по выражению деда Куторкина.

Раз скатывается со мною, потом ещё один. Щёки её становятся румяны, белее снега прядь выбилась из-под пуховой шали. Сели на ребристую вершину крыши, откуда в обе стороны скаты, а с торца венчает конек, труба рядом. Пахнет жизнью, теплом. Рядом с нами откуда-то появляются дед Куторкин, в ватных штанах и ушанке с милицейской кокардой, баба Таня Максимова, Чёрная, Катя. И все, все, все. Даже баба Поля — улыбается, не ворчит вовсе, типа:

— У, вражины, всю жесть мне щас проломят.

А внизу, мимо сада, по полю, утопая в снегах, идут дети наши, жены, кого любили и бросили кого. Многие, по правде говоря, сами ушли. И кажется, что правильно сделали. Мы машем им варежками с ледышками и хохочем:

— Лезьте к нам, лезьте к нам.

— Не, — качают они головами. — Дел много. И потом, мы-то ведь... пока ещё живы.

А мы хохочем, ржём прямо, остановиться не можем:

— Вы уверены?

## N. B.

Книга сделана благодаря вот этим чудесным людям: Смирнова О. А. (Москва), Мила Adams (Санкт-Петербург), andri-inna (Саранск), podrugafedora (Москва), hardkot2007 (Павлово-на-Оке), Екатерина А. (Новосибирск), Саша Македонский (Москва), ilipilina (Самара), shurabaranov (Беларусь, Минск), el-lobo (Санкт-Петербург), Фрау Шпигель (Севастополь), leonleo2006 (Химки), Евгений Графов (Челябинск), Лилия Сенченко (Вологда), Ксения Легойда (Москва), Evgeny Grigoriev (Москва), Юлия Авструб (Пущино), Ирина Уткина (Мытищи), Lenokvvv (Самара), Marochkinas (Саранск), Андрей Гаврюшенко (Самара), cygankovas, hritina.natalya (Самара), Юлия Корзун (Москва), Олег Бакиров (Самара), Ольга Козеева (Москва), Евгений Подмарев (Саранск), Борис Пущин (Веллингтон), Татьяна и Алексей Овчинниковых, Гелена Юсупова

## **Оглавление**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Чемодан весны .....               | 3  |
| Абсерватория .....                | 8  |
| Бабушка и космос .....            | 12 |
| Заяц Беня .....                   | 20 |
| Курс обучения верховой езде ..... | 27 |
| Вычитание зимы .....              | 32 |
| У озера .....                     | 39 |
| Китешка .....                     | 46 |
| Чем пахнет космос .....           | 53 |
| Светопись .....                   | 58 |
| Катина ракета .....               | 65 |
| Одна-жды .....                    | 73 |
| Приходи ко мне поплакать .....    | 79 |
| Эпилог .....                      | 85 |
| N. В. ....                        | 87 |

**Владимир Липилин**

**Бабушка и космос**  
недетская повесть о детстве

*Иллюстратор* Айна Баева (фрау Шпигель)